



**БОРИС
ПАСТЕРНАК**

*“Существованья
ткань сквозная...”*

.....

Переписка с Евгенией Пастернак,
дополненная письмами к
Евгению Борисовичу Пастернаку
и его воспоминаниями



Борис Пастернак
«Существованья
ткань сквозная...»:
переписка с Евгенией
Пастернак, дополненная
письмами к Евгению
Борисовичу Пастернаку
и его воспоминаниями

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Пастернак Б. Л.

«Существованья ткань сквозная...»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями / Б. Л. Пастернак — «АСТ», 2017

ISBN 978-5-17-103729-1

Евгения Владимировна Пастернак (Лурье) — художница, первая жена Бориса Пастернака; их переписка началась в 1921-м и длилась до смерти поэта в 1960 году. Письма влюбленных, позже — молодоженов, молодых родителей, расстающихся супругов — и двух равновеликих личностей, художницы и поэта... Переписка дополнена комментариями и воспоминаниями их сына Евгения Борисовича и складывается в цельное повествование, охватывающее почти всю жизнь Бориса Пастернака.

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-103729-1

© Пастернак Б. Л., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

Борис Пастернак	5
Елена В. Пастернак	6
Евгений Пастернак	8
Борис Пастернак	21
Глава I	21
Глава II	104
Конец ознакомительного фрагмента.	108

Борис Пастернак
«Существованья ткань сквозная...»:
переписка с Евгенией Пастернак, дополненная
письмами к Евгению Борисовичу
Пастернаку и его воспоминаниями

*Не бойся слов, не мучься, брось.
Люблю и думаю и знаю.
Смотри: и рек не мыслит врозь*



Елена В. Пастернак

Предисловие ко второму изданию

Составитель этой книги Евгений Борисович Пастернак, старший сын Бориса Леонидовича, сын от первого брака, волею судьбы стал его первым биографом. Он собрал большое количество документов и писем, давших ему возможность написать подробное жизнеописание Бориса Пастернака под скромным названием “Материалы для биографии”. Книга писалась более десяти лет еще в то время, когда имя его отца было под запретом и обвинения в антисоветчине, как принято было характеризовать роман “Доктор Живаго”, и в предательстве после его издания за границей и присуждения Нобелевской премии были живы в памяти. При поддержке академика Д. С. Лихачева, написавшего предисловие к роману, опубликованному в 1988 году в “Новом мире”, книга Е. Пастернака об отце была издана в 1989 году и стала основным материалом, на котором могли строить свои исследования будущие биографы Бориса Пастернака.

Но основным своим достижением Евгений Пастернак считал жанр, который он нашел для изданий переписки своего отца с разными лицами. Не будучи по своему образованию филологом и историком литературы, он не любил научные публикации эпистолярного наследия, снабженные инвентарем ссылок, набранных петитом внизу страницы. Составляя первую из серии книг переписки Бориса Пастернака, письма к его двоюродной сестре, профессору классической литературы Ольге Фрейденберг, равной ему по силе корреспондентке, мы посчитали, что можно восполнить несохранившиеся письма О. Фрейденберг выписками из ее дневников, воссоздающими обстоятельства ее жизни и события того времени. Переписка охватывала период с 1910 по 1955 год. Это перевело научное издание писем в категорию литературы, основанной на подлинных документах страшной эпохи, в которую жили ее герои, и ставшей захватывающим чтением. Такой рассказ дал возможность отчетливо увидеть не только характеры действующих лиц в диалоге, который они вели, но и те жизненные условия, с которыми им приходилось иметь дело, и то, как они их преодолевали.

При составлении второй книги серии эпистолярных публикаций нам пришлось уже самим по этому же принципу построить переписку трех великих лириков XX века: Бориса Пастернака и Марины Цветаевой с Райнером Марией Рильке. Мы сумели убедить в превосходстве такой композиции серьезного академического ученого Константина Марковича Азодовского, который взял на себя перевод немецких писем Цветаевой и Рильке и часть комментариев, помещенных между ними как текст, необходимый для понимания.

Тот же принцип был применен при публикации переписки Пастернака со своими французскими переводчицами Жаклин де Пруайяр и Элен Пельтье-Замойской, а позже – с родителями и сестрами.

После издания книги О. В. Ивинской и публикации воспоминаний З. Н. Пастернак и писем к ней со всей необходимостью вставала задача “самая близкая и потому самая трудная, – как писал Евгений Борисович, – издания переписки моих родителей – Бориса Пастернака и Евгении Владимировны Пастернак, дополненной письмами отца ко мне. Я уже старше, чем был отец, когда он скончался, и откладывать эту задачу более нельзя”.

Оставлять это до будущих времен и будущих исследователей было невозможно. Да и кто, кроме живого участника событий, мог бы справиться с этой задачей, как бы трудна она для него ни была.

Из-за душевной трудности передать трагедию семьи, их расставание, тяжесть которого сын пронес через всю жизнь, работа шла очень медленно. Постепенно разбирались и составлялись письма; кроме того, надо было восстановить по документам события, которые сын

не мог помнить. В следующих главах стало возможным дополнять письма собственными воспоминаниями Евгения Борисовича. Он пишет, что многое стерлось из памяти, даже то, что, казалось бы, он хорошо помнил и знал. Вставляли перед глазами отдельные сцены и эпизоды, которые можно было перевести в текст, но полной картины жизни и отношений с родителями восстановить не удавалось. Это смущало и мешало работе.

Складывая тексты писем, Евгений Борисович что-то припоминал, записывал, иной раз надиктовывал, а потом записи перекраивал и дополнял попутно возникающими соображениями. Чтобы облегчить задачу памяти, задавал себе определенные темы: написать о квартире на Волхонке, о соседях, вспомнить картины города того времени. Иногда, чтобы представить себе что-то, специально приходил туда, где это происходило, но то, что он видел там, часто не могло помочь и только мешало, и нужно было время, чтобы снова увидеть это место глазами прошлого и написать о нем.

Книга складывалась медленно и трудно, с большими паузами, чтобы отдохнуть от тяжелых воспоминаний, иногда хотелось бросить все и не возвращаться, но через некоторое время надо было снова ставить себе задачи: вспомнить, как было то или это.

Первая попытка опубликовать эту книгу кончилась неудачей, издательство разваливалось и не смогло напечатать тираж, тем более что надо было познакомить читателей с работами Евгении Владимировны Пастернак, незаслуженно забытой художницы. Счастливой случайностью стало знакомство Ирины Дмитриевны Прохоровой с текстом книги, она оценила ее значение и решила напечатать ее в 1998 году, в начале своей издательской деятельности. Книга была прекрасно издана, художник Е. Поликашин снабдил ее множеством фотографий и прекрасных репродукций картин и портретов героини. Тираж разошелся очень быстро. Книга сразу вышла на французском у Галлимара в блестящем переводе Софи Бенеш.

С тех пор прошло много лет, и чтобы повторить издание, нам пришлось кое-что добавить из того, что написал Е. Б. Пастернак за это время, что-то поправить и уточнить.

Передаем слово составителю.

Евгений Пастернак

Введение

Основная часть писем моих родителей относится к тому времени, когда мы жили вместе, одной семьей. Они писались в периоды разлук, то есть в самые эмоционально напряженные и мучительные моменты, озаренные сильным и контрастным светом тяжелого жизненного уклада 1920-х годов.

При этом легко выявляется четкая закономерность в изменении тона писем. Сначала – после маминых отъездов – письма, посланные ей вдогонку, полны беспокойства о ее поездке, о том, что ее встретило на новом месте. В ответ – по инерции, заданной утомлением и взаимными обидами последних месяцев, – идут упреки, которые вызывают долгие аналитические выяснения отношений.

Однако вскоре болезненный тон сменяется тоскою разлуки, переходящей в лирический диалог в нетерпеливом ожидании задерживающегося свидания.

После развода моих родителей мы все продолжали жить в Москве, и писание писем уступало место живому общению – отец бывал у нас почти еженедельно. Рассказ об этом времени представляется естественным продолжением их переписки.

Я неправомерно долго откладывал составление этой трудной для меня книги. Со смертью отца в 1960 году из нашей жизни ушло самое значительное ее содержание. Маме стало трудно жить и работать, она на глазах стала мрачнеть. Началась тяжелая депрессия, которая вскоре свела ее в могилу. Мои воспоминания о ней болезненно затемнены и искажены впечатлениями последних лет, когда решительный, волевой и жизнерадостный художник, преданный своему искусству, постепенно уступал место беспомощному человеку, угнетенному мучительными переживаниями и бесплодными мыслями. А ведь ей было тогда только 60 лет. Как видно из писем, эмоционально глубокие моменты и раньше оказывали на нее гнетущее впечатление, но тогда на их преодоление хватало внешнего света и собственных сил. Не хочется утяжелять и без того трудный текст переписки психологическими рассуждениями, хотя многое из пережитого родителями мне глубоко запомнилось. Поэтому после небольшого введения мы даем письма в их хронологической последовательности, перемежаемые описанием затронутых в тексте конкретных биографических обстоятельств или сопутствовавших им событий.

В начале книги эти моменты излагались по фактическим материалам, лишь слегка расширенным моими воспоминаниями или сохраненными в памяти рассказами родителей и их друзей. Со временем повествование все более обретало субъективный характер моих личных впечатлений, подчиненных законам человеческой памяти и жанру мемуарных записок. Как мы многократно убеждались, автор воспоминаний почти всегда пишет о себе, а не о том, кому посвящаются его записи и кого он стремится вспомнить. Передавая отрывки наших разговоров и наблюдений, мы писали только правду, но это именно “воспоминания”, они односторонни, не могут претендовать на документальную точность и не должны никого задевать.

Публикация писем к близким людям недаром считается делом нескромным и нелегким. Принято думать, что лучше не торопиться с этим, пока живы участники переписки и лица, в ней упоминаемые. Так относилась к своей переписке Марина Цветаева, когда откладывала обнародование писем Рильке к ней на пятьдесят лет, этого же мнения придерживалась ее дочь Ариадна Эфрон, когда мы с ней разговаривали о переписке наших родителей. Но на мое возражение, что я всегда готов напечатать любую строчку своего отца в силу чистоты и благородства его отношений к людям, она сказала, что, вероятно, я прав, и она может мне только позавидовать. К тому же, со времени первых писем моих родителей друг к другу

прошло уже более семидесяти лет, да и последние удалены от нас теми же заповеданными пятьюдесятью годами.

Время восстанавливать сохраненное памятью пришло слишком поздно. Я ничего своевременно не пытался записывать. А потом мне казалось более важным работать над биографией отца, собирать чужие свидетельства и писать текст как комментарий к ним. Надеялся на свою память. Но, начиная работу над этой книгой и стараясь вспомнить обстоятельства, вызвавшие те или иные письма, я понял, что многое забыл или не успел выяснить. Однако боюсь, что тем, кто возьмется за подготовку этой переписки, когда меня не станет, будет намного трудней. И главное, еще сложнее будет читать и понимать эти письма.

Дело не в том, что совместная жизнь двух художников требовала жертвы со стороны младшего, менее талантливого, и у моей матери, страстно стремившейся к самостоятельности в искусстве, не хватало для этого сил и понимания. Дело не в том, как тяжело они оба пережили расставание и как потом всю жизнь она продолжала любить моего отца, и не в том, что отец, со свойственным ему чувством неизживаемой вины перед нами, сознавал, что не сумел преодолеть психологические и материальные трудности, с которыми была связана его первая семейная жизнь, и потому разрушил ее и обрек всех на страдания, – но в том, что он видел причину этого в недостатке любви к моей матери, считая, что надо было это понять с самого начала и не заводить семью, не начинать то, к чему – как он писал в Послесловии к “Охранной грамоте” – у него “не было достаточных данных”, то есть той большой любви, которая необходима, чтобы сделать семью счастливой. Под это подводилась теория двух типов красоты, связанных с внутренней сущностью женщины, и строились богословско-мифологические концепции; навязчивые, мучительные комплексы нарушали логику событий и их фактическую сторону. Анализировать их не имеет смысла – они относятся к области художественного творчества.

Возможно, что мне не надо было бы трогать эту тему, но я кое-что слышал от самого отца, кое-что наблюдал и старался понять. Хотя это и трудно, тем не менее попробую рассказать, как я представляю себе его отношение к предмету любви и поклонения, источнику лирического порыва. Во внешних проявлениях страсти отец был накрепко скован цепью традиционной нравственной ответственности и благородства. В “Охранной грамоте” он называл это “возвышенным отношением к женщине”, в 1956 году в письме к Екатерине Александровне Крашенинниковой писал о “черте, за которой начинаются судьбы, совместности, соучастия в жизни, вещи счастливые и роковые”; Марине Цветаевой в 1926 году он рассказывал о мучительном преодолении страсти, вызываемой одиночеством лета в городе. “Стоящие дуги” невозможности сделать жизнь и счастье другого человека источником эгоистического использования и подвергнуть любовь опасности опошления были органически крепки в нем, держали и возвышали его душу ценою страданий и жертв. А судьба “по гроб, до морга” – отпугивала и сдерживала тех, к кому он стремился в молодости. Предметам его увлечений казалось, что они ему в реальности не нужны, что его чувство выдуманное и чисто духовное, что он сочиняет, фантазирует. Так думает Анна Арильд в “Повести” 1929 года. Серьезность его отношения не позволяла стать на легкий, игровой, бездумно-скользящий путь. В случае с Идой Высоцкой это рассказано им самим предельно доказательно и подробно в “Охранной грамоте”.

Мамочка говорила мне, что Надя Синякова измучила Борю тем, что играла на последнем пределе ласки, никогда не переходя его. Елена Александровна Виноград, напротив, была к нему строга и держала на определенной дистанции. Отсюда в посвященных ей стихах постоянные метафоры льда и холода. В конце жизни она с болью признавалась нам в жесткости своего отношения к Боре, ей казалось, что она сама ему не нужна, а он любит только свой поэтический сон о ней.

В Тихих Горах на Каме в 1916 году у Пастернака был краткий романтический эпизод с Фанни Николаевной Збарской. Ее муж – Борис Ильич – покровительствовал этим отношениям. Но пошлость видевшегося “треугольника” была невыносима, и что бы там ни затевалось и до чего бы ни дошло, отец едва не сбежал тогда от этого в Петроград. Судя по его письмам к родителям, он вскоре сумел овладеть собой и уехал при первой возможности.

В революционные годы и годы Гражданской войны Пастернак был страстно и душеизнурительно влюблен в Елену Виноград. Это видно по стихам “Сестры моей жизни”. Болезненные стороны этого романа “отсеяны” в книгу “Темы и вариации” и восстанавливаются по рассказам Елены Александровны о том, как Боря утешал ее, когда ей было грустно, приходил на помощь, ничего, кроме душевной растравы, не получая. Ей было больно с нами об этом говорить, и она во многом себя винила. Царство ей Небесное.

Встреча с мамочкой перед отъездом за границу родителей отца и сближение с ней к исходу 1921 года стало для него после страданий несчастной любви исполнением мечты о реальной жизни. Он суеверно не делал ее литературной героиней, не писал ей стихов, как Елене. Его чувство выливалось в письмах к ней, равных которым, как мне кажется, в эпистолярной лирике нет. Ее смелость и полная доверчивость в ответ на его любовь дали ему почувствовать себя полноценным человеком.

Мои родители поженились в январе 1922-го года и прожили одной семьей до 1931-го. Яркость детских воспоминаний в моем случае прошла жестокие испытания, поблекла, и они стали бледными и плохо различимыми. Главной причиной трудности совместного существования отца и матери была страстная посвященность их обоим своему искусству, то есть именно то, что было для обоих оправданием существования и душевно их сближало. В то же время в условиях “немыслимого быта” 1920-х годов совместная жизнь двух художников требовала чрезмерных физических и духовных сил. Одному из них приходилось жертвовать своим искусством ради работы другого, что тяжело отзывалось на обоих.

Надо сказать, что мамино самоутверждение было особенно жестко первые четыре года их совместной жизни. В 1926 году это стремление было максимальным по силе, она уехала тогда в Германию с намерением вырваться из оков семейной жизни и заняться только работой. Она не отвечала на отцовские письма и старалась найти себя в живописи. Однако вместо этого она ощутила силу своей привязанности к мужу и поняла, насколько он дорог ей и насколько его сила и талант несравненно выше ее собственных возможностей. Она вернулась с твердым намерением подчинить жизнь в доме его потребностям, создать необходимый уют и по мере возможности удобный уклад их совместной жизни. Но этому во многом мешали обстоятельства: тяжело пережитая ею смерть матери, окончание института, дипломная работа, слабое здоровье и, с другой стороны, сознательное в то время отталкивание отца от писательских организаций и официальных сторон жизни, следовательно, постоянные отказы на его просьбы о предоставлении квартиры в строившемся тогда писательском доме или о временном выезде за границу. Это, в конечном счете, и стало основной причиной того, что мои родители в 1931 году разошлись.

Жизнь Бориса Пастернака достаточно известна. Машины работы и ее судьба остались в тени и могут быть забыты. Мне не удалось устроить ее выставку, дать возможность публике оценить ее работы и заинтересовать ее судьбой. Надо сказать о ней несколько слов.

В последние годы мамочка очень хотела записать свои воспоминания, начинала рассказывать про свою куклу, с которой была сфотографирована в четырехлетнем возрасте, потом о том, как родители отца купили ей другую куклу (в Германии в 1922 году), а она оставила ее папиной сестре Жоне¹. О ней мама вспоминала в поздних письмах и спрашивала: “Существует ли старинная кукла, которую вы подарили мне, которую я назвала Катю-

¹ Жозефина Леонидовна Пастернак (1900–1993).

шей, потому что она немного косила, и которую мама оставила Жоничке”². Как мы помним, немного косила героиня романа Толстого “Воскресение” Катюша Маслова.

Ее воспоминания пыталась записать З. Масленникова, получились две-три сбивчивые страницы. Ее рассказы о себе, которые помню я, тоже были фрагментарны.

Надо написать, кто она была. Евгения Владимировна Лурье родилась 16 (28) декабря 1898 года в провинциальном губернском городе Могилеве. Ее родители были сравнительно обеспечены³. Отец имел небольшое, доставшееся ему по наследству состояние, которое он безуспешно, за отсутствием деловой хватки, пытался сохранить. У него был маленький писчебумажный магазинчик, но мама рассказывала, что он любил делать подарки чужим детям и торговал себе в убыток. Все в семье определялось матерью – человеком лучезарно светлого и жизнерадостного характера, делавшим праздником каждый день повседневного обихода. Она любила принимать и угощать гостей. У них была большая квартира на главной улице города – Ветряной. Мама вспоминала о двух огромных пальмах в кадках, которые стояли у них в прихожей.

Слабое здоровье маленькой Жени (она в детстве перенесла тиф) и тяжелая болезнь ее матери вызывали опасения. Их вдвоем отправили в Крым на поправку.

“Я с мамой в Алуште, – вспоминала она в поздние годы. – Море, солнце, камушки, кипарисы, миндаль, розы, близость и любовь мамы. Возвращение домой. Нянина полутемная комната. Занятия Миши (няниного сына) с Катей, революционной подругой двоюродных братьев и сестер. Мое хождение к учительнице куда-то вниз с горки по переулку, где во дворе большой сад, ослики. Длинные мои косы, спасающие меня от приставания мальчишек. Завтраки у учительницы в кругу ее многочисленной семьи, девять человек детей. Растущая наблюдательность, ощущение себя среди других ребят. Поступление в гимназию”.

Женя была, по-видимому, шаловливой и смелой девочкой. Свои длинные тяжелые косы до колен, привлекавшие внимание и интерес соседских мальчишек, она использовала как средство защиты. Взяв в руки концы кос, она размахивала ими, как пастух кнутом, и больно колотила своих противников.

В течение нескольких лет семейство снимало также небольшой хутор на Днепре, Котыши. Мамочка любила рассказывать мне об их счастливой жизни на хуторе, о собаках, с которыми она много возилась в детстве и которые вспоминала всю жизнь с великой нежностью. При доме была скотина, лошадь, домашняя птица. Брат Сеня⁴ был еще мальчиком, когда родители купили ему маленькую лохматую лошадку, за которой он сам ухаживал. Женя была младшим ребенком в семье, и родители опекали ее больше старших сестер Анны и Гитты⁵ и брата Семена.

Позже она записала в тетради:

“Хутор на Днепре. У старших еще экзамены, они в городе. Меня отправили на хутор, где я живу до приезда остальных с хозяевами. Сегодня два хозяйских сына взяли меня на рыбную ловлю. Чудное утро, река полноводная, берега крутые, поросшие кустарником. Я тихонько сижу в лодке и молюсь: «Господи, сделай так, чтобы не попалось ни одной рыбки». Меня больше на рыбную ловлю не взяли, я проговорилась, и меня сурово отругали.

Но какое чудное это было утро, как помнится луг, покрытый туманом, крутой берег, цепляющиеся при спуске в лодку кусты ежевики и шиповника. Тишина и дыхание реки. Божественное утро”.

² Из письма Лидии Леонидовне Пастернак-Слейтер от 25 декабря 1964 г. Hoover Institution Archive.

³ Александра Николаевна (1870–1928) и Владимир (Вениамин) Александрович Лурье (1865–1943).

⁴ Семен Владимирович Лурье (1895–1960).

⁵ Анна Владимировна (1894–1957); Гитта Владимировна (1897–1975).

Брат Сеня еще в гимназии стал добровольным членом Могилевской пожарной команды, с которой выезжал тушить пожары, частые в этом деревянном городе. По окончании гимназии брат и сестры уехали в Петербург, чтобы получить образование. Анна Владимировна (дома ее звали Нюня) вышла замуж за начинающего юриста Абрама Бенедиктовича Минца⁶. Семен Владимирович, поступив в Петербургский университет, стал одним из самых заметных наездников Петербургского ипподрома и в 1912–1913 годах для знаменитого американского наездника Вильяма Кейтона тренировал “лошадь столетия” – легендарного Крепыша.

Началась Мировая война. Мамочка рассказывала, как переменялся облик города, когда в Могилеве расположился сначала штаб фронта, а потом царская ставка. Город был полон солдатами, казаками и офицерами всех рангов, ставшими на постой во всех домах. Родители беспокоились за Женю, которая заканчивала гимназию. Но у девочки был смелый и решительный характер, она не терпела сковывающей ее опеки. Чтобы дать некоторое представление о том, что за человек была эта девочка, ставшая через несколько лет женой Бориса Пастернака, приведем несколько записей из ее дневника тех лет:

25 августа 1914 года. Как-то странно – столько новых происшествий, впечатлений, а я не пишу, а как иногда хочется взяться за перо. С 18-го июля была объявлена мобилизация войск, объявлена война ужасная, всемирная, какой еще не помнит история. Тяжело очень думать о войне, но мне хочется передать то горе, какое царило повсюду. В Могилеве у нас сравнительно тихо, а в особенности тихо в Котышах, где мы жили в это лето опять, и действительно в Котышах как-то забывала я о том, что столько людей гибнет, все как-то было так далеко от меня, совсем не касалось, я очень хладнокровно узнавала все новости о войне и только первые дни волновалась. Близких у нас тоже на войну не взяли и потому у нас на даче не было той паники, которая была повсюду.

Приехали мы в город 19 августа, в городе, где на каждом шагу в каждой семье не хватает кого-нибудь (то есть кто-нибудь да пошел на войну), а часто и нескольких, – ближе как-то касаешься всеобщего волнения, сама проникаешься общим настроением. А тут ужасное известие, что немцы разбили два корпуса русских, значит, убито около 100 тысяч человек, как-то пусто и больно на душе, не можешь себе отдать отчета, как это столько человек убито. Противно, что сама ничего не делаешь, не работаешь, не помогаешь бедным раненым, не страдаешь вместе с ними.

Боже мой! Неужели наш Сеня пойдет на войну. Он был в психоневрологическом институте, и там отняли отсрочку. Правда, все теперь горюют о братьях, сыновьях, родных, но, Боже мой, какой ужас, если брат убит или серьезно ранен. Остаться навеки калекой гораздо хуже, чем быть убитым, страдать всю жизнь, быть в тягость другим, заставлять других страдать – это ужасно.

А ведь я как-то даже хотела, чтобы была война, чтобы люди проснулись, оставили бы немного свои денежные дела и поволновались немного, но я была идиотка, Боже! Какой ужас – столько людей должно погибнуть, столько молодых, полных жизни. Ведь люди, видя страдания, не забыли о деньгах, да это и невозможно, ведь всякий хочет есть. А я сама уж, наверное, не лучше других, мне хочется, чтобы у меня было теплое, красивое пальто, чтобы моя комнатка была уютно обставлена, чтобы были новые ботинки, а у других, что есть теперь? А у солдат очень ли уютные комнаты и красивые пальто? Но я подумаю, подумаю, выругаю себя, а все-таки мне всего хочется, и я добиваюсь своего. А сколько вообще есть людей, что рады, когда есть кусок хлеба! Но все это очень старо – людям всегда мало того, что у них есть.

⁶ Абрам Бенедиктович Минц (Хиля; 1894–1970).

27 марта 1915 года. Мне уже шестнадцать, я должна кончить в этом году гимназию. Я буду уже самостоятельным человеком, и мне как-то странно, не верится, что я уже почти большая, что теперь я должна буду жить сама. Говорят, что шестнадцать лет самая лучшая пора жизни, и я чувствую, что у меня масса сил, мне чего-то хочется, я чего-то ожидаю, мне бывает страшно. Но я не знаю, чего я хочу, что я могу ожидать нового. Неужели я и будущий год проведу так, как этот – в Могилеве, только ожидая чего-то? Это было бы очень гадко, но это вероятнее всего. Куда мне ехать, куда поступить? Я очень хочу поехать в Москву и поступить на архитектурно-строительный, но я не имею правожительства, да к тому я ведь не знаю, быть может, я и не сумею там учиться, я не знаю, насколько достаточно я рисую. А пока скоро экзамены, но я даже не хочу о них думать. Теперь, вот в эту минуту мне очень скучно, гадко, пусто на душе. Что я буду потом делать, к чему приложу свои силы? Так хочется какой-то хорошей работы, хочется влезть в нее с головой и душой и как-то страшно: что если я не найду этой работы, что если даже искать не захочу?

А иногда так весело, так верится иногда, все кажется таким близким, возможным, кажется, весь свет перевернуть сумею. В душе так много сил, что ищешь, куда бы их приложить, готова просто так взять и побежать по улице, бежать, бежать, пока совсем не устанешь, не выбьешься из сил. И хочется такого большого, сильного впечатления.

Я не писала последнее время потому, что мне кажется, что я не то пишу, что хотелось бы, есть в душе еще что-то такое, о чем даже боишься подумать, а если попробовать написать об этом, то выйдет совсем не то, а потому и сам дневник как-то гадок, и я думала уже несколько раз порвать его, а все-таки жалко, ведь он не мешает, я старалась только не думать и не писать об этом. Читая дневник, я чувствую, что старалась не писать о самом хорошем и о самом плохом, а писала так, только среднее, и старалась себя уверить, что я пишу все, что чувствую и думаю. Нет, если бы я писала все, то писала бы каждый день, а не выбирала бы отдельные случаи, когда можно писать о том, о сем, но не о том, до чего тебе стыдно и больно и приятно касаться и о чем боишься писать, потому что кажется, что не сумеешь это передать и что выйдет только бледно и смешно.

26 мая 1915. Я считала, что в жизни больше всего люблю людей, мне казалось, что люди это самое красивое и самое сильное и богатое в жизни, что в людях можно найти все. Я горячо защищала индивидуальность каждого человека, говорила, что у каждого есть что-то свое, я возмущалась, когда людей ставили близко к животным, и доказывала, что человек не сравним с животными потому, что у каждого есть что-то свое, в то время, как у животных этого нет.

Я безумно люблю все красивое: в людях я видела красоту в их душе, в том, чем один человек выделяется из окружающих. И мне казалось, что у каждого я нахожу что-то новое “его”, и чем у человека было сильнее это “его”, тем больше он меня интересовал. А вот вчера мне как-то показалось, что все это вздор, что люди только делятся на мужчин и женщин, а там все одинаковы, немножко хуже, или немножко лучше. Я читаю журналы за 1915 год, все так однообразно, прежде, чем начнешь читать, уже знаешь конец. Я смотрю на знакомых, слушаю их разговоры, вижу их поступки, и мне кажется все это таким знакомым, старым и ничего нового.

Через год после окончания Мариинской гимназии Женя сдала дополнительные экзамены за курс казенной, получила аттестат зрелости с золотой медалью, что открывало ей дорогу на Высшие женские курсы. Отец воспротивился отъезду своей любимицы, она настояла на своем. Они поссорились и несколько лет не разговаривали друг с другом.

Летом 1917 года Женя вместе со своей двоюродной сестрой Софьей Самойловой Лурье уехала в Москву. Вот запись того времени:

Нет заботы у меня в сердце, все свое устояние оставила я далеко позади себя. Я бегу через холмы и доли, странствую по безымянным землям оттого, что я гонюсь за золотым олененком, еду в Москву первым классом в отдельном купэ, еду в поисках за золотым олененком. Но страшно мне, на душе у меня такой хаос, впереди ничего определенного, позади – ссоры, споры, борьба, слезы и большая, большая мамина любовь. Она давит меня, эта бесконечная любовь, как забыть мне все – недовольство и озлобление всех наших, неодобрение Гиты, сердце папы, но как связана я любовью мамы, как хочется тряхнуть головой, помчаться без заботы вперед, как в сказке Рабиндраната Тагора, но, верно, тот, кто гонится за тем олененком, не человек, он бездушный, а иначе не отбросить забот, не расстаться с тревогой, как сосет, как болит голова – эта вера и в меня. Мама – материя, а ее душа – инстинкт – хорошая философия неверующих в Бога и душу. Но зачем эта старость – угроза смерти. Лягу, усну, успокоюсь и соберу свои мысли.

Женя поступила на физико-математическое отделение Высших женских курсов, что на Девичьем поле, и вспоминала, что слышала курс логики знаменитого тогда профессора Г. Г. Шпета⁷, с увлечением занималась математикой. Кроме того, она вскоре стала брать уроки рисования. И так она неожиданно нашла свое призвание. По ее рассказам, как-то зимой она зашла в мастерскую, где училась ее подруга. Рисовали старушку в кружевной шали. Женя пристроилась тоже и, взяв лист бумаги, сделала на редкость удачный рисунок, до сих пор сохранившийся среди ее работ. Руководитель мастерской уговорил ее продолжать занятия. Но переутомление и полуголодная студенческая жизнь в чужих холодных комнатах сказались на ее здоровье.

О своей жизни в Москве, дружбе с однокурсницей Марией Соломоновной Маркович и преданно любившим ее студентом-медиком Даниилом Яковлевичем Линденбратеном (Доней) она записала в своей тетрадке:

“Душа была полна мыслями о Доне, его любовью, близостью. Маничка, Доня, две-три книги, художник, курсы заполняли мою жизнь. Потом что-то сломалось. Порвалась какая-то струнка. Ушла радость встреч с Доней, чувство близости к Мане, оставила я художника, курсы, поступила на службу. Устала, измучилась, потеряла охоту жить, давила тоска. Мало-кровная, с нарывами на шее, приехала в Могилев. Было одно желание, одно желание – выздороветь, избавиться от нарывов”.

Мать повезла Женю в Киев. Они остановились у родственников – на Украине всегда было легче с продовольствием. Женя познакомилась с А. А. Экстер⁸ и стала брать у нее уроки живописи. Ее показывали врачам. Оказалось, что бесконечные простуды и затяжной бронхит дали начало верхушечному процессу в легких. Мать поехала с нею в Крым, где они пробыли с июля по сентябрь 1918 года.

“Шумит ветер, – записала Женя в своем дневнике 20 июля/ 2 августа 1918 года, – мне жутко, хотя теперь утро, я лежу в постели. Глупая девочка, где твои близкие люди? Ведь мне нужны все новые и новые. Была Соня, Рахиль, Маничка, Доня, – все далеко, а я в Крыму одна. Но сегодня мне впервые тоскливо утром. Тоска приходит ко мне ежедневно вечером вместе с теплой крымской ночью, а ночь наступает здесь рано в восемь часов, наступает она сразу без сумерек и тогда приходит тоска по близким. Ночи теплые, шумит море, тихо покачиваются кипарисы, со всех сторон несутся стрекотанье, шепот, жужжанье, чей-то протяжный свист, а наверху черное, как пропасть, небо, усыпанное бесчисленными звездами. Ляжешь на спину и смотришь, как тихо скатываются золотые звезды”.

⁷ Густав Густавович Шпет (1879–1937; расстрелян), философ.

⁸ Александра Александровна Экстер (1884–1949).

Тем не менее курс лечения виноградом и солнцем пошел Жене на пользу. Она выздоровела и потом всегда вспоминала время, проведенное с матерью в Алуште, как последние лучезарно счастливые месяцы беззаботной юности.

Семья тем временем переселилась из Могилева, где уже шли военные действия, к старшей дочери в Петроград. Но путь туда из Крыма был отрезан. Женя с матерью добрались до Харькова, куда к ним приехал Семен Владимирович. Он недавно, во время немецкого наступления 1918 года, когда в Могилеве были захвачены кровные лошади знаменитого конного завода, по просьбе командования Красной армии пробрался в Могилев и перегнал всех лошадей через линию фронта. Это помнили все конники, и до самой смерти он продолжал быть в чести у них, и они приглашали его продемонстрировать молодым езде высшего класса и ежегодно присылали ему пригласительные билеты на ипподром.

В Харькове Женя подружилась со своим кузеном Семеном Филипповичем Добкиным, который потом всегда вспоминал о ней и ее матери в Харькове, о том, как близки были тогда брат и сестра, как ходили вместе на вечера артистической молодежи. Ее гладко зачесанные волосы открывали крутой и высокий лоб, длинная густая коса спускалась до колен. Запомнилась ее улыбка, освещавшая лицо, причем часто она улыбалась не столько внешним причинам, сколько своим мыслям.

Удивительно, но эта загадочная улыбка появляется почти во всех воспоминаниях о ней. Н. Н. Вильям-Вильмонт называет ее “таинственной, беспредметно манящей, которую при желании можно назвать улыбкою Моны Лизы”, о ней писал Пастернак в стихотворении, написанном при расставании:

Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлой улыбкой, улыбкой захлеб,
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб.

О ней же в Послесловии к “Охранной грамоте”: “Улыбка колом округляла подбородок молодой художницы, заливая ей светом щеки и глаза. И тогда она как от солнца щурила их непристально-матовым прищуром”.

А тогда в Харькове Женя в течение нескольких месяцев, с 20 сентября 1918 года по 2 мая 1919-го, занималась скульптурой в Художественном цехе, познакомилась с художницей Любовью Михайловной Козинцевой⁹, посещала собрания группы ХЛАМ (художество, литература, архитектура, музыка).

Когда восстановилось железнодорожное сообщение, Женя с матерью и братом отправилась в Питер. Муж старшей сестры вскоре устроил Женю курьером в Смольный. Ей выдали полушубок и валенки, и она бегала целый день, разнося пакеты по городу. За это давали красноармейский паек. Вскоре она поступила в училище барона Штиглица, где продолжила свои занятия живописью, в чем теперь видела цель жизни. Там она познакомилась с Саррой Дмитриевной Дармолатовой-Лебедевой¹⁰, которая преподавала рисунок. Дружба с ней, возобновившаяся после переезда Лебедевой в Москву, впоследствии стала для мамочки огромным душевным подспорьем в жизни.

Однако Женя не смогла долго совмещать службу с занятиями у Штиглица и в результате потеряла паек. Это возмутило ее зятя, который преподавал ей свое жизненное правило, часто потом с горечью вспоминавшееся: “Живи не как хочется, а как может”. Мириться с этим Женя никогда не могла. Она уехала в Москву и поступила в Высшие художе-

⁹ Любовь Михайловна Козинцева (Эренбург; 1900–1970).

¹⁰ Сарра Дмитриевна Лебедева (Дармолатова; 1892–1967), скульптор.

ственно-технические мастерские (ВХУТЕМАС), открывшиеся вместо Училища живописи, ваяния и зодчества, в котором еще недавно преподавал Л. О. Пастернак. Мамочка училась в мастерской Д. Штеренберга и П. П. Кончаловского.

Летом 1920 года ей удалось отправиться с Фиалкой Штеренберг и Еленой Фрадкиной¹¹ в художественную колонию в Малаховке, которой руководили Марк Шагал и Роберт Фальк. Там она познакомилась с музыкальным критиком Юлием Дмитриевичем Энгелем и его дочерьми Адой и Верой¹².

В Москве мама снимала комнату на Рождественском бульваре против дома со львами, зарабатывала гроши, давая уроки рисования дочери одного из актеров МХТ, графила конторские книги, голодала. Кроме ВХУТЕМАСа, она бегала в балетную школу учиться ритмике, часто ходила слушать музыку. Временами приходила помощь от родителей из Питера, которую привозили навещавшие ее брат и сестра Гитта.

Главным в ее характере было стремление к самостоятельности и тогда еще не надломленная веселая вера в свои силы. Она была очень способна к живописи, владела сильным рисунком и рядом со своими однокурсниками, среди которых были очень талантливые художники, чувствовала себя уверенно. Мамочка вспоминала потом, что в это время И. И. Машков писал ее портрет на огромном холсте. Судьба этой работы неизвестна.

В январе 1921 года через адресный стол ее разыскал только что приехавший в Москву после двухлетних мытарств в отрезанном войной Крыму Михаил Львович Штих¹³. Найти Женю Лурье просила его уезжавшая из Крыма в эмиграцию ее кузина Софья Мельман.

Мы очень быстро и крепко подружились, – вспоминал М. Штих. – Я стал часто бывать по вечерам в ее комнате в большом доме на Рождественском бульваре, я читал ей стихи, которые помнил в великом множестве – Блока, Ахматову и, конечно, Пастернака. В начале осени дядюшка мой стал устраивать в подмосковный санаторий на станции Пушкино мою сестру Нюту. Я нажал на него и вместе с Нютой он устроил туда же и Женю. Время от времени я навещал их там. И однажды, когда мы с Женей сидели на скамейке в санаторном лесу, я прочитал ей два моих стихотворения (увы, далеко не блестящих), которые были посвящены ей. Одно из них “Портрет”:

Да, в сумерки яснее все улики.
В такие сумерки. И ясно в этот час:
Лишь на полотнах мастеров великих
Есть женщины, похожие на Вас.

Одни из тех, о ком столетья пели
И за кого на смерть, ликуя шли,
На плаху шли и гибли на дуэли
Поэты и мечтатели земли.

Ах, все они давно лежат в могилах,
И только Вам – стучаться у дверей,
Чтобы искать своих родных и милых
В каталогах картинных галерей.

¹¹ Елена Михайловна Фрадкина (Хазина; 1901–1981), художница.

¹² Юлий Дмитриевич Энгель (1868–1927), композитор и музыкальный критик. Ада Юльевна Энгель (Рогинская; 1901–1970), художница, и Вера Юльевна Энгель (Добрушина).

¹³ Михаил Львович Штих (1898–1979), скрипач, журналист.

Когда я кончил, Женя как-то погрузилась и сказала ласково и непреклонно:

“Миша, мы с вами останемся друзьями. Вы меня поняли?”

Я понял. И вскоре мы попрощались, я поехал в Москву. <...>

И мы остались друзьями. Только теперь наши встречи происходили чаще у нас в Банковском переулке. Женя очень подружилась и с Шурой¹⁴. А еще ей очень хотелось познакомиться с Борей, но их посещения все как-то не совпадали по времени.

Брат Миши Шура Штих был с детских лет близким другом Пастернака. Его первый слушатель и советчик, он сам писал стихи и за год до революции издал свою книжку. Женя сделала портреты обоих братьев.

“И однажды, – писал Миша Штих, – когда мы с ней были по какому-то делу на Никитской, я сообразил, что в соседнем переулке (он, кажется, тогда назывался Георгиевским) живет Боря. И мы решили наугад, экспромтом заглянуть к нему. Он был дома, был очень приветлив, мы долго и хорошо говорили с ним. Он пригласил еще заходить. И через некоторое время мы пришли опять. На этот раз я ушел раньше Жени, и они с Борей проводили меня до трамвая. И я как-то, почти машинально, попрощался с ними сразу двумя руками и вложил руку Жени в Борину. И Боря прогудел: «Как это у тебя хорошо получилось»”.

Это было летом перед отъездом родителей Бориса Пастернака в Германию. Он тогда жил на углу Георгиевского и Гранатного переулков, снимал комнату у Марии Львовны Пуриц¹⁵, вдовы адвоката, старого знакомого его отца, недавно скончавшегося. Ее дочь Наталья Семеновна запомнила приход Жени к ним в дом и рассказывала, каким страшным потрясением для них было известие о смерти Блока, – как тяжело переживал это Борис, который в мае встретился с Блоком на вечере в Политехническом и по его просьбе отложил свое свидание с ним до следующего приезда в Москву.

Он ожидал тогда издания своих книг “Сестра моя жизнь” и “Темы и варьации”, отданных в Государственное издательство под объединенным названием “Жажда в жар”. Тем временем стихи из “Сестры” ходили по рукам в списках, отдельные вещи были отданы в случайные журналы и печатались. Ими восхищался Брюсов, имя Пастернака вместе с именами Маяковского и Асеева стояло в ряду первых молодых поэтов. “Сестрой” заинтересовался издатель З. И. Гржебин и вел переговоры с ГИЗом, желая выкупить у него рукопись.

Еще в середине июля в Германию через Ригу уехала сестра Бориса Жозефина. Теперь, записавшись в университет, она ждала приезда родителей с младшей сестрой Лидией¹⁶. Они приехали в Берлин 18 сентября. Борис с братом Александром¹⁷ остались в Москве в двух комнатах родительской квартиры на Волхонке, которая была сразу уплотнена вселившимся семейством Фришманов.

Осенью возобновились занятия во ВХУТЕМАСе. Женя занималась тогда в мастерской Петра Петровича Кончаловского, дружила с сокурсниками Еленой Фрадкиной, Сергеем Сахаровым, Леонардо Бенатовым, Натальей Челпановой¹⁸. С некоторыми из них завязывались романтические отношения. Особенно привлекал ее Сергей Сахаров, у нас сохранился сделанный им ее красивый портрет. Он познакомил ее со своей матерью и сестрой. Женя записывала в дневнике события осени 1921 года и свое скептическое отношение к занятиям

¹⁴ Александр Львович Штих (1890–1962), экономист.

¹⁵ Мария Львовна Пуриц (? – 1974), скрипачка, вдова адвоката С. Н. Пурица.

¹⁶ Леонид Осипович Пастернак (1962–1945), художник, его жена пианистка Розалия Исидоровна (Кауфман; 1867–1939) и дочь Лидия Леонидовна (1903–1989), биохимик.

¹⁷ Александр Леонидович Пастернак (1893–1982), архитектор.

¹⁸ Сергей Семенович Сахаров (о. Софроний; 1896–1993); Леонардо Михайлович Бенатов (Левон Бунятян-Бунятянц; 1899–1972); Наталья Георгиевна Челпанова (Парен; 1899–1958).

в школе, когда каждый сам по себе выискивал средства к существованию в те трудные и голодные годы. Начало занятий оттягивалось, 25 октября 1921 года она писала, обращаясь к себе самой:

Слушай, Женя, я буду рассказывать тебе о своей жизни и мыслях. Уже третья неделя, как я скверно очень живу. Я ничего не делаю. Сегодня в три часа Петр Петрович будет в мастерских. Я жду трех часов, но знаю, что зря. Будет несколько человек, а на нас надежда плохая, мы не сумеем дать жизнь мастерской, а мальчики, они, каждый работает сам по себе и вряд ли хочется им наладить работу в школе. Мне кажется, что вообще школа скверная штука, она как-то не нужна тем, которые там околачиваются.

29-го. Конечно, П. П. не пришел. Сегодня уже суббота, занятия не начались. Гита и Сеня все еще не уехали в Петроград. Хочу, если уедут завтра, придти в себя и начать работать хоть одной. Знаю, что в понедельник кое-кто соберется в мастерской, но как мне всё и все противны. Хочется видеть Сережу, можно бы написать, попросить быть завтра на концерте, но просто не знаю, что это ни к чему, храм разрушен, а он был. Правда, не верилось. А теперь зачем встречаться, мне дорого безусловно его мнение, может, даже единственное, о работе. Но нужно даже и этим пренебречь.

Я хочу проследить свои личные отношения с людьми. Когда читаешь свои заметки о прошлом или письма, все кажется теперь (я, как всегда, считаю теперь – сегодня, а завтра, может быть, иначе) не нужным, не стоящим затраты дум и времени. Доня – это хорошие, радостные отношения. Виктор – ценно только одно лето, просто летние хорошие дни, а все, что было потом, – могло и не быть... Теперь я не хочу больше создавать личных отношений. Может быть так, что я не похоронила еще Сережи. Я отгоняю даже мысль зайти к нему в мастерскую, я не хочу больше мимолетных настроений. Я поддалась ему на рождении Александра Львовича, и было хорошо мне с Борисом Пастернаком. Правда, на следующий день и завтра хотелось его повидать, во-первых, потому что я ничего не делаю, а потом приятно состояние напряженности и интереса. Но довольно, я его не видела и не надо, ни к чему.

Запись обрывается, но мнимое безразличие дает увидеть зародившееся влечение.

Мама часто вспоминала потом об этой встрече на дне рождения Шуры Штиха. Это было 13 октября 1921 года. Пастернак играл на рояле, а Миша Штих – на скрипке. Вероятно, они все читали свои стихи. Но по словам А. А. Поливановой, мамочка рассказывала, что была чем-то отвлечена во время чтения Пастернака и на его вопрос, как ей понравились его стихи, ответила, что не слушала их. Борю эта откровенность привела в восторг. “Вот и правильно, зачем слушать такую ерунду”, – воскликнул он.

Вероятно, именно после этой странной встречи Женя попросила у Штихов пастернаковские стихи и переписала для себя его первый стихотворный сборник “Близнец в тучах”, подаренный автором Шуре Штиху с нежной надписью.

Удивительно, что Михаил Штих не запомнил этого, ему вспоминалось лишь нетерпение, которое проявляла она потом, чтобы снова увидаться с Борей. Может быть, она тоже заметила, что произвела впечатление.

Встречи с Женей продолжались. Однажды это было на улице, когда она бежала на занятия балетом. Она вспоминала, как ее поразили его огромные и нескладные, разъезжающиеся по грязи галоши – “точно с людоеда” – как он потом записал в “Спекторском”. Он пригласил ее прийти за красками, которые в большом количестве остались после отъезда отца. Она пришла на Волхонку и набрала в передник кучу недовыжатых тюбиков. В ее приходы между чтением Пушкина и своих стихов он стал читать ей роман о Жене Люверс и загадывал по книге, станет ли она его женой. Этот роман был написан зимой 1917/18 года, и его

героиня была ориентирована на Елену Виноград, в которую Пастернак был тогда влюблен. Пробуждение в Жене Люверс лирического начала взято, конечно, из собственного жизненного опыта. Совпадения имен героини и Жени Лурье сыграло большую роль в символическом значении, которое приобрел неоконченный роман в истории их любви.

Тогда был сделан маленький портрет с читающего Бори, который мама потом очень любила как воспоминание о тех счастливых днях. В конце жизни, к новому 1964 году, она вложила в письмо папиным сестрам репродукцию этого портрета и написала: “Посылаю вам две фотографии с моих рисунков, один очень ранний. Я пришла за красками на Волхонку (оставшимися от папы), Боря читает мне письма Пушкина к жене. Второй более поздний, приблизительно начала 40-х годов”¹⁹.

Второй портрет был сделан в 1933 году, когда папа позировал художнику З. Горбовцу, пригласив его к нам на Тверской бульвар, чтобы мама могла воспользоваться этим для своего рисунка. Я очень любил этот портрет, и папе он тоже нравился, он писал о нем своим родителям как о маминой удаче.

“Я принимала все абсолютно, – вспоминала потом мама свои первые посещения Бори на Волхонке. – Я доверчиво приходила к нему в мастерскую, там стоял огромный подиум. Борис Леонидович ставил самовар”.

Однажды он принес ее на плечах на общую кухню и познакомил с нею семейство Фришманов. Фришманов было пятеро²⁰, они заняли три комнаты в квартире Пастернаков: две спальни родителей и девочек и столовую. На них была возложена забота об оставшихся в Москве сыновьях Борисе и Александре, так что обеды и ужины проходили в общей столовой. Их дочь Стелла была подругой Жозефины и Лиды Пастернак. Она была замужем за химиком, с которым вместе училась и дружила Лида, Абрамом Адельсоном, что не мешало этой веселой молодой женщине кокетничать и постоянно влюбляться в разных людей. И с братьями Пастернаками она поддерживала быстро возникшие при близком соседстве романтические отношения и весело флиртowała. Она подробно писала о Борисе и Шуре и своих отношениях с ними, поцелуях и совместных прогулках в письмах к Жене и Лиде:

18 ноября 1921 года она писала о Борисе:

Сейчас для него существует только Женя. Вплоть до последних дней он все еще колебался, то есть временами на целые часы, даже сутки думал обо мне, а теперь – только о Жене. Думаю, что в настоящее время (подчеркиваю – настоящее, ибо знаю немного Борю, изменчивость его настроений и т. д. и не могу ручаться за будущее) я ему абсолютно безразлична. <...>

В 8 ч. до ужина мы вместе вышли на Арбат, вышли веселые, живые, смеющиеся, ходили рука за руку с тысячами нежных глупостей – а вернулась я мрачной, как тень. Разговор зашел про Женю. И ведь знаю я все это, знаю, что любит ее сильно и нежно и что вместе весной собираются ехать за границу – и все же не выразимая словами боль. И опять страшная, ничем не заглушимая, огромная жажда жизни. Любовной, земной, огненной жизни! Жажда моря, того моря, которого никогда не видала и про которое только знаю, что оно есть. Потом Боря заиграл. Так, как он умеет играть, он один. Я легла ничком на сундук в галерейке и прижалась лицом к перегородке, за которой он играл. Направо от меня была перегородка, вся звеневшая от ударов по клавишам; налево окно, а в окно виднелся кусок сероватого зимнего неба и освещенные ярким светом окна Князьего двора. Я лежала без движения, вся вытянутая и напряженная. Из-под закрытых ресниц медленно катились слезы. В этот вечер

¹⁹ Письмо от 25 декабря 1963 г. Hoover Institution Archive.

²⁰ Отец семейства Самуил Соломонович, его жена Людвиг Бенционовна (1880–1976) с сестрой Юлией Бенционовной, дочь Стелла Самойловна (1901–1988) с мужем Абрамом Вениаминовичем Адельсоном.

я любила его. И тоже без надежды. Потому что настоящее – это Женя, а я – что ж, пустячок, огневой пустячок, которому трудно противостоять и которого надо остерегаться и избегать²¹.

Борис стал ходить к Жене на Рождественский бульвар. Как-то его застал там ее брат Сеня, приехавший из Питера, и, испугавшись странностей Жениного поклонника, который читал непонятные стихи, пожаловался матери. Женю срочно вызвали в Петроград. Ей скоро должно было исполниться 22 года, и родители хотели вместе с дочерью отпраздновать день ее рождения.

Борис обещал ей, что вскоре приедет тоже.

О, как она была смела,
Когда едва из-под крыла
Любимой матери, шутя,
Свой детский смех мне отдала,
Без прекословий и помех
Свой детский мир и детский смех,
Обид не знавшее дитя,
Свои заботы и дела.

²¹ Флейшман Л. С. Сердечная смута поэта // Eternity's Hostage: Selected Papers from the Stanford International Conference on Boris Pasternak. 2004. Part 2.

Борис Пастернак

Переписка с Евгенией Пастернак дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями

Глава I (1921–1924) Попытка семьи

Среда 22?.XII.21²². <Москва>

Женичка, я из твоего отсутствия не создам культа, мне кажется, что я не думаю о тебе, сегодня первый “спокойный” день у меня за последний месяц, но – весь этот день у меня, со вчерашнего, – безостановочно колеблющееся сердцебиение, точно эти пульсации имитируют что-то твое, дорогое и тихое, может быть ту золотую, рыбковую уклончивость, с которой начинаешь ты: “ах попа<лась...>”.

Такова и погода, таковы и встречи. То есть я без шума и без драматизма, звуковым и душевным образом, полон и болен тобою.

Женичка, Женичка, Женичка, Женичка! Ах я бы лучше остался при этом чувстве: оно как разговор с собою, оно глубокомысленно бормочущее, глухо каплющее, потаенно-верное, – ходишь и нехотя перелистываешь что-то тысячелистное в груди, как книгу, не читая, *ленясь читать*. Я бы остался при нем и не писал бы тебе, если бы не родная твоя шпилька! Я убирая, отодвинул диван, она звякнула и опять:

“ах попа<лась...>”. Не сердись на меня, золото, со стороны это глупо и сентиментально-смазано, вероятно, но это потому, что не поддается разговорному выражению. Твой голос, оставшийся в углах этой тишины, он больше мой, чем твой. Он далекий и темный и самый родной, больше – мой.

Ты напишешь мне, как доехала. Не пересаживали ли по дороге? Чувствую, что не топили, несмотря на человека, смотревшего на тебя сквозь голубые очки. Помнишь, как содрогался я, когда ты меня укоряла – в розовых? Ах, дорогая, дорогая!

И все – дрова! Сегодня в 9 часов утра опять привезли. По ошибке? – Постепенно они вырастают, кто-то шлет их по своей особой рассеянности, заразившись – моей. Так я утрами переселяюсь в какой-то лес, заснеженный, недоспавшийся, мокрый, смешанный, – осиновый скорее, нежели березовый. И эти мужики по утрам правы: я – в лесу. Я действительно как в лесу без тебя. Величественно темно, одно образно захватывающе. Это ты. Но из этого леса надо выбраться, и по нескольким путям сразу. Я и буду. А ты дыши домом и близкими, – радость, – работай, отдыхай, гляди, как копошится, дымит и колдует кругом тебя Петербург, как он вершит свою Блоковщину, и пиши, пиши мне, если можешь! Я тебя долго, долго, продолжительно мучительно нежно целую.

²² В письмах по большей части сохраняется авторская пунктуация. – Е. П.

Дорогая Женюточка моя, что делать мне, и как мне назвать мою намагниченность и напетость тобою, если не тою растерянностью как раз, которую ты велишь, и я бы хотел разогнать! – Как в лесу.

23. XII.21

Женичка ласочка, одной рукой ты прижимаешь куклу, а другой держишь ее за ножку, тебе шесть (?) лет и я люблю тебя! Женичка, я читал опять про принцип относительности; автор не Эйнштейн, а другой философ, все равно кто, но он эти мысленные винты на диво как хорошо протирает и полирует, и как жар горят логические шарниры, и все здание хаотически одинокой современной гениальности скользит и отливает, катастрофически страшное и математически застрахованное, как внутренность колоссальной какой-то электрической станции в головоломном каком-нибудь Лондоне, где, как известно тебе, ни души, ни пылинки и все – напряжение и почетный караул тянущих и тянущихся магнитов и бессонной меди. Они втягивают в себя бессветную ночь и, втягивая ее, ей светят.

Женичка, душа и радость моя и мое будущее. Женичка, скажи мне что-нибудь, чтобы я не помешался от быстрот, внезапно меня задевающих и срывающих с места. Женичка, мир так переменялся с тех дней, которые когда-то не жились на страницах наших учебников, когда некоторых из нас снимали – куколкой с куклою в руках! И не попадались тогда эти птички, а щебет их срисовывал ветром по лазури уже нарисованные весною в полдень побеги распускавшихся лип, и журчанье этой рисовальной резвости ручьями лилось через окошко в некоторые дневники и ручьями – под карандаш, срисовывавший маму с тихой фотографии на тихую бумагу.

И ты еще читаешь эти глупости, ясная моя! Женья, а теперь он по-иному молод, этот куда-то сквозь коридор, нет лучше сквозь ущелье человеческого бессмертия мчащийся свет! Мы поедем с тобой на полигон, по которому мчится он, мы будем в Европе! Но чему учили нас! Ведь это Средневековье в сравнении с тем, что происходит там в физике и, значит, в философии. Ну вот распутай это: поклонение гению и поклонение евгении! О Женичка, Женичка! Сейчас же напиши мне что-нибудь, я тебя услышу.

Опять – вечер, на улице было тихо, пока я читал и безумствовал; вдруг прошли с гармоникой, я проснулся и стал писать тебе, стараясь без безумств.

Женичка, вероятье ветвей каких-то мерещится мне при мысли о тебе. Не то на пути у тебя в гости куда-то был вечеревший и заснеженный сквер, сдавленный тесно сошедшимися кругом петербургскими домами, не то сама ты подошла к окну, равняясь по гардине, и перед глазами у тебя было это графическое вероятье. Но есть это где-то. Есть. Это бы совсем не существенно, если бы рядом с этими деревьями не вставали две двойственные, горькие как пите²³ (приторно-горькие) мысли. – Она, эта, стоящая у окна, она окидывает взглядом последнюю осень, и не знает, не любит, сомневается, нет, даже иначе: поскользывается, и скользнув по ноябрю, видит ясно и беспрепятственно: август или май и другого человека. Это – она! Что ж с того что ее зовут Женею. Так вдумывается и задумывается *она*. Но – ты, Женичка, ты, – (как странны оба этих чувства!) *ты* назовешь меня, когда тебе или ей станет грустно или обидно? Ты назовешь меня, не правда ли! Меня, и этот жалкий гадкий ноябрь? Да? Да? О, не сердись и пощади. До следующего. Ведь ты прочла? Ты поняла, где были тут меж слов поцелуи?

Твой Б.

²³ Строчная буква в автографе.

22. XII.<1921>. Петроград

Боринька милый. Вчера приехала, устала. Болезненно все воспринимала. Тревожно было очень. Дома живут тяжело. Сестра простудилась в магазине, где сидела с 10 до 10. Папу на днях обокрали. Сегодня ночью арестовали мужа другой сестры. Пишу, Боринька, на ходу, потому что прислуга идет на почту, а мне хочется, чтобы ты поскорее получил от меня привет. Сейчас повезу посылочку Юлии Бенционны. Адрес: Троицкая 23, кв. 6.

Прости, что пишу на клочке, но нет другой бумаги. Крепко, крепко целую. Жду письма.
Женя

24. XII.<1921> <Петроград>

Боринька, не сердись на Женю за то, что она послала тебе гадкое письмо, из-за которого ты волнуешься, от 22 XII. Я не буду тебе писать обо всем, что связано с тобой – я потом расскажу.

Я не хочу тебя спрашивать о твоём приезде и как-нибудь влиять на твоё решение. С мамой я говорила о тебе. Я не работаю пока, потому что Гитта ещё не выходит и я сижу с папой в магазине.

Сегодня была в школе барона Штиглица, где я зимой 19 г. немного работала – там холодно и мертво, в академии, говорят, ещё хуже. Завтра, верно, пойду в Эрмитаж.

Ю<лии> Б<енционовне> скажи, что посылку и письмо отнесла, но застала только жену брата, перед отъездом зайду.

Боринька, не думай ничего плохого, если письмо тебе покажется неласковым и даже тогда, если долго ничего от меня не получишь. Мне хочется крепко к тебе прижаться...

Женя

<31 декабря 1921–1 января 1922. Петроград>

Боринька, как долго нет писем. Я знала, что ты не приедешь ни 28-го²⁴, ни сегодня, но все-таки ждала. Грустно прошло мое рождение, было много хлопот у мамы и беготни из-за магазина, потому что отбирают помещение. 29-го была в гостях у двоюродной сестры Бетти. Ехала туда вечером одна. Погода мягкая, тихо, проволоки как канаты, деревья лохматые, а справа Фонтанка – вода и мосты и весело думать, что это не Петербург, а чужой незнакомый город. Народу человек тридцать. Но я боюсь, что мне будет не о чем с ними разговаривать. На помощь пришел кокаин. Мне совершенно нет дела, чем и как заняты остальные. Я чувствую только себя. Боринька, не сердись, милый, я знаю *очень хорошо*, что он мне не нужен, но он мне помог не скучать, а сидели поздно до 6 ч. утра – и спасибо.

Сегодня, вероятно, за мной заедут встречать новый год, даже не надеясь, что ты приедешь, я все-таки оставила за собой право остаться дома, но теперь уже скоро 8 часов и ясно, что ты не приехал. Комната у меня светлая, насколько это может быть в Петербурге, мольберт, подрамник достала, холст загрунтован, натура есть, купила уголь, кисти, но не достала лаку. Если не завтра (после встречи нового года), то в понедельник начну. Боринька, меня волнует, что ты не пишешь. Боринька милый, я чувствую себя в изгнании, когда же ты приедешь?

Женя

²⁴ 28 декабря – Женин день рождения по новому стилю.

31. XII

Осталась дома, в 12 была уже в кровати. А сегодня начала портрет девочки. Но работа займет часа 2–3 в день, а дальше? Боря, я сама решила уехать, да и теперь знаю, что останусь здесь еще недели две, а если работа наладится и затянется, то и больше. Но тяжело безысходно. Дай знать мне поскорее, что сказал тебе доктор, с его ли только советом связан твой приезд? Если и завтра не будет письма (уже целую неделю, как нет) я или залягу спать, или —?

Женя

1/
I

Боря, любишь?

Уезжая в Питер, Женя оставила на память свою детскую фотографию с куклой на руках и тетрадку с дневниковыми записями гимназического и студенческого времени, выдержки из которой мы приводили раньше. Папа считал, что она сумела в ней удивительным образом выразить себя, и впоследствии часто вспоминал о ней и даже просил оставить ему тетрадку, когда они расставались. В его письме упоминается также мамин рисунок, который она делала с фотографии своей матери Александры Николаевны, по которой очень тосковала в Москве.

Слова о птичьем щебете, который “срисовывал побеги распутившихся лип” и “лился через окошко” на дневники и журналы, перекликаются со стихотворением Пастернака, написанным весной 1922 года, “Чирикали птицы и были искренни...”:

Чирикали птицы. Из школы на улицу,
На тумбы ложилось, хлынув волной,
Немолчное пенье и шелканье шпупек,
Мелькали косички и цокал челнок.

Можно сопоставить с этим также детскую песенку “Ах, попалась, птичка, стой, не уйдешь из сети...”, которая обыгрывается в письме.

В движущуюся перебойми лирику письма неожиданно вплетается рассуждение о принципе относительности, почерпнутое из чтения немецкой книги Германа Вайля “Пространство. Время. Материя” (1918), очень важное для философии Пастернака, считавшего, что его собственные художественные принципы соответствуют новейшим открытиям точных наук.

В свою очередь, Женя сообщала, что выполнила поручение соседки по квартире на Волхонке, Юлии Бенционовны, и рассказывала о грустной встрече с друзьями и родными в Петрограде.

Вероятно, на это письмо был папин ответ, который не сохранился. В это время он срочно готовил рукопись “Сестры моей жизни” для Гржебина, которому удалось добиться у ГИЗа прав на ее издание. Был изготовлен макет будущей книги, и отец детально разрабатывал композиционную структуру глав, вносил последние исправления в текст²⁵.

²⁵ Издательский макет сохранился — его приобрел Е. С. Левитин; настоящее его местонахождение неизвестно.

Очень важным событием был привоз дров. Жильцы давно этого ждали и последнее время часто подмерзали, экономя на топливе. Нужно было срочно пилить дрова и убирать в сарай. А тут подоспели зимние праздники, и Рита Райт²⁶ пригласила Пастернака на встречу Нового года в Дом печати. Все это мешало работе, и поэтому перед отъездом он писал Брюсову, готовившему сборник современных поэтов, с извинением, что не успел подготовить для него подборку своих стихов. «Завтра я уезжаю на неделю другую в Петербург, – писал он Брюсову 12 января. – Эта поездка еще большею тяжестью лежит на моей совести, нежели запозданье со стихами. И тут все просрочено до последней возможности и «просьбы о прощении»». В тот же день он уполномочил Я. Шапирштейна²⁷ забрать рукописи двух своих стихотворных книг, лежавших без движения в ГИЗе, и передать Брюсову, надеясь по возвращении отобрать из них лучшее для антологии. Кстати, предполагалось перевести антологию на иностранные языки, но из этого замысла ничего не вышло.

Папа приехал в Петроград 14 января, в первый день Нового года по старому стилю. В ожидании его мама готовила ему подарок – покупала книги. Она заметила, что среди книг на Волхонке нет русских классиков: часть была распродана в голодные годы, часть, вероятно, увезена в Германию родителями. Мама купила дешевые собрания Пушкина, Жуковского, Гоголя и др. Я хорошо помню эти несколько полок в черном папином книжном шкафу, по ним я учился читать, ими всю жизнь пользовался мой отец. После его смерти я отдавал в переплет отдельные рассыпавшиеся тома, испещренные его заметками на полях и пережившие переезды, войну, разорение квартиры и смерть самого владельца.

В Петрограде они много гуляли по городу, вечерами ходили в литературно-художественные собрания, в театр. Папа вспоминает в письмах впечатление от «Валькирии» Вагнера, которую они слушали в Мариинке. Мама рассказывала о посещении «Звучащей раковины», собиравшейся у Иды Наппельбаум. К этому времени относится их знакомство с Ахматовой. Папа водил маму к Фрейденбергам, она очаровала их обоих, тетю Асю и ее дочь Ольгу, которая спустя много лет вспоминала:

«Боря, женившись на Жене, приезжал с нею в Петербург к ее семье. Женя была художница, очень одухотворенное существо. Она любила нас, мы любили ее. Боря приезжал к нам, всегда охваченный странной нежностью ко мне, и вместе с ним врывалась атмосфера большого родства, большого праздника, большой внутренней лирики. На этот раз он уже был женат и рассказывал о Жене, и приводил ее к нам, и изливал на нее такую нежность, что она краснела».

Было начало нэпа, и мамин отец открыл в Петрограде рыбную лавочку, где ему помогали торговать жена и дочь Гитта. Гитта вспоминала, что молодые только за полдень появлялись в общей комнате и сразу торопились уйти. Из всей семьи папочка выделял хозяйку дома Александру Николаевну и, несмотря на то что ни маме, ни ему не хотелось вносить казавшуюся устарелой и по тем временам отжившей официальность в свои отношения, они подчинились ее уговорам и 24 января 1922 года зарегистрировали свой брак. Отец уговорил маму сменить фамилию, хотя она всячески сопротивлялась серьезности момента и вспоминала, как хотела, чтобы Боря, наоборот, взял ее фамилию.

Боря сразу оповестил о своей женитьбе брата Шуру в Москве.

В духе времени, ставившего под сомнение традиционные понятия, мама признавалась, что «много дикого придумали люди, – как писала она Шуру, – для меня самым диким всегда были общие понятия: грех, свобода, преступление, еврей, разврат, брак. И не только дикими. Но мучительными. И вот в чем страх этих понятий, они развращают нас, они не позволяют

²⁶ Рита Яковлевна Райт-Ковалева (1898–1989) написала об этом (Труды по русской и славянской филологии. Вып. 9. Тарту, 1966).

²⁷ Яков Ефимович Шапирштейн (Эльсберг; 1901–1972), в будущем литературный критик.

естественно и искренне нам жить, и власть их не в том, что мы их признаем, а в том, что мы их отрицаем. Мы начинаем с *утверждения* того, что свойственно именно нам, а прежде всего с *отрицания* чего-то возможного, что бывает у других и что другие называют так или иначе. Некоторым по натуре вовсе не свойствен разврат, но развращенная мысль уверяет, что все остальное скука и пошлость. Никто бы не задумался над тем, что близость и жизнь с дорогим тебе человеком – скука, пошлость, понижение напряженности и интереса к жизни, но слова «брак», «семья» как будто волокут с собой всю грязь, весь сор, всю мерзость, которые встречались на их пути”.

Соседка Стелла Адельсон 31 января 1922 года писала в Берлин: “Жоничка! Боря женился! Позавчера в Петрограде! В 12 ч. ночи раздался телефонный звонок и Боря сказал, что повенчаны. Завтра они должны приехать. Я об этом знала и не удивилась. Но как-то странно этот факт не может проникнуть в мозг. Знаю, но... понимаешь? Мы с Шурой целый день вчера проговорили об этом. И оба мы немного плакали. Что ж, дай бог счастья”²⁸.

По возвращении в Москву они сделали себе обручальные кольца. Маме очень нравилось, что ее колечко как раз умещалось внутри папиного. На внутренней стороне он сам нацарапал их имена: Женя и Боря.

Родители и сестры в Берлине по-разному восприняли эту новость. Жозефина позже вспоминала свои чувства, когда она узнала об этом. Ее тревожила трагическая необратимость этого поступка и будущие трудности, сужденные обоим:

Боря женился? Непостижимо, невозможно... В мое сердце закралась грусть, я испытывала острую боль. Боря женился. Правда ли это, возможно ли это, как это может быть? Увлеченный работой, яркий – Прометей в цепях... Как он мог умалить свое призвание до положения простого смертного: муж, жена – о, мучительная боль от этого известия. Женитьба – это когда из организма семьи вырезают живую ткань, пересаживают ее куда-то, возникает новая жизнь – о, но Боря... Какой должна была быть природа эмоциональных катаклизмов, вынудивших его принять такое... *необратимое* решение? Он собирался приехать в Берлин. Но это уже будет не прежний Боря. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть к перспективе появления нового Бори. Мне не стоило паниковать. Когда он и его жена приехали, я поняла, что он совсем не изменился: тот же оптимизм, та же непредсказуемая смена настроений, то же чувство юмора. Короче говоря, прежнее поэтическое мироощущение, не искаженное практическими соображениями. Милая Женя, тебе досталась нелегкая доля. Почему ты решила связать свою жизнь с этим человеком? Ты не сможешь следовать за ним в его полетах. И он не будет виноват в том, что набирает и набирает высоту...²⁹

В Москве молодожены поселились в большой комнате, бывшей художественной мастерской Леонида Осиповича Пастернака. Комнату рядом, бывшую прежде гостиной, занимал брат Бориса Александр, молодой архитектор.

Дом находился в красивейшей части города, на Волхонке, рядом с Музеем изящных искусств. Окна выходили на Всехсвятский проезд. Слева на высоком цоколе стояла розовая церковь Похвалы Богородице, называвшаяся в округе Нечаянной радостью – по чудотворной иконе, которая там находилась. Справа – эспланада скверов и лестниц с Храмом Христа Спасителя в центре.

Тогда еще звонили колокола. С утра воздух наполнялся плотным гудением и солнечным блеском золотых куполов. Таково было пробуждение города, приход утра.

²⁸ Флейшман Л. С. Сердечная смута поэта.

²⁹ Пастернак Ж. Л. Хождение по канату. М.: Три квадрата, 2010.

В нашу квартиру вела широкая лестница белого камня, двумя длинными маршами во много ступеней. Поначалу она была покрыта ковровой дорожкой. Двустворчатая дверь открывалась в переднюю – большую комнату с окнами во двор, заставленную разной мебелью и по углам заложенную дровами. Летом в ней кто-нибудь жил за занавеской. Зимой здесь было холодно.

Большая квартира, полученная дедом от Училища живописи в 1911 году, после его отъезда в Германию превратилась в типичную коммунальную. В письмах постоянно присутствуют семейства Фришманов и Устиновых, Василий Иванович с женой Елизаветой Ивановной, их прислуга Прасковья Петровна (Паша)³⁰ и другие. Различные ведомства постоянно требовали освобождения квартиры под учреждения, но предлагаемые варианты жилья были абсолютно непригодны. Во всем чувствовалась неуверенность и ненадежность будущего.

В апреле 1922 года разрешили частные поездки за границу, и с первого же дня отец стал хлопотать о том, чтобы увидеться с родителями и показать им свою молодую жену. Тем временем в различных журналах стали печататься написанные им ранее работы, задержанные разрухой. Отдельной книжкой вышли “Тайны” Гёте в его переводе, потом “Сестра моя жизнь”, в журналах были опубликованы “Детство Люверс”, “Письма из Тулы”, статья “Несколько положений”, цикл стихов “Разрыв”. Газеты, журналы и альманахи охотно печатали отдельные стихотворения становившегося знаменитым поэта.

Но жизненный обиход все еще оставался очень трудным, и мамина приятельница художница Елена Михайловна Фрадкина вспоминала, как зимой во ВХУТЕМАС привезли мороженую картошку, чтобы поддержать оголодавших студентов. Можно было взять ее домой сколько хочешь. Елена Михайловна рассказывала, что впервые познакомилась с Жениным мужем, знаменитым поэтом, в очереди за картошкой, когда они вдвоем пришли во ВХУТЕМАС с детскими саночками и, счастливые, везли их потом домой вниз по Мясницкой.

Летом, после тяжелой зимы и болезней, Женю поместили на месяц в подмосковный санаторий.

По четвергам на Волхонке собирались друзья. В окна большой комнаты заглядывал купол Храма Христа, на золоте которого играли лучи заходящего солнца. К старым друзьям Боброву³¹, Асееву и Маяковскому добавились Дмитрий Петровский со своей женой Маричкой Гонтой³², приходили Черняки – критик и поэт Яков Захарович и его жена пианистка Елизавета Борисовна³³. Она описала один из таких вечеров и свое впечатление от знакомства с мамой:

Б. Л. стал готовить чай и только успел разлить его в чашки, как в открытое окно его окликнул женский голос. Б. Л. подошел к окну и стал уговаривать собеседницу подняться и не обращать внимания на то, что она “в тапочках”. Из разговора стало понятно, что она приехала из-за города. Она пришла, окинула комнату ревнивым взглядом и сказала: “А вы уже без меня устроились”. Что мне сказать о Жене? Гордое лицо с довольно крупными смелыми чертами, тонкий нос с своеобразным вырезом ноздрей, огромный, открытый умный лоб. Женя одна из самых умных, тонких и обаятельных женщин, которых мне пришлось встретить. <...> Но характер у Жени был не легкий. Она была очень ревнива, ревновала Б. Л. к друзьям, на что не раз жаловались ближайшие друзья Б. Л. – Бобров, Локс.

³⁰ Василий Иванович (†1928), Елизавета Ивановна (†1924) и Прасковья Петровна в 1922 году были выселены из соседней квартиры, и Пастернаки предоставили им комнату у себя.

³¹ Поэт Сергей Павлович Бобров (1889–1971) вместе с Пастернаком входил в литературные группы “Лирика” (1912) и “Центрифуга” (1914–1917).

³² Поэт Дмитрий Васильевич Петровский (1892–1955) и его жена Мария Павловна Гонта (1904–1995).

³³ Историк литературы Яков Захарович Черняк (1898–1955) и Елизавета Борисовна (Тубина; 1899–1971).

В Жене вообще было мало мягкости, уютности, уступчивости. У меня сложилось впечатление, что Женя очень боится стать придатком к Б. Л., потерять свою душевную самостоятельность, независимость. Она все время как-то внутренне отталкивалась от Б. Л. Эта внутренняя борьба длилась все время, и именно она, по моему убеждению, привела к разрыву. В быту Женя все время требовала помощи Б. Л.

Она была одаренной художницей, отличной портретисткой, обладала безукоризненным вкусом.<...> Она была достойна Пастернака³⁴.

В Германию собирались основательно, думая остаться там на несколько лет. Мама мечтала продолжать свое художественное образование, причем Боря надеялся в этом на помощь и участие своего отца, профессионального преподавателя. Маме хотелось уехать в Париж, для чего она получила рекомендательное письмо от своего учителя по ВХУТЕМАСу П. П. Кончаловского.

Je certifie que M-me Lourie-Pasternak était mon élève très assidue et que pendant deux ans elle travaillait avec beaucoup de progrès à mon atelier à l'école des Beaux Arts de Moscou.

Peintre Pierre Kontchalovsky. Moscou 25 Juillet 1922³⁵.

Паковали книги, папины рукописи и мамины картины, рисунки, художественные материалы.

Этим летом уезжали за границу Женины друзья Сергей Сахаров и Леонардо Бенатов. Сахаров во время Гражданской войны был мобилизован в Красную армию, откуда вскоре бежал, напуганный жестокостью и бесчеловечием “народных заступников”. Над ним висела опасность ареста. Из Одессы на пароходе они отправились в Италию, затем ненадолго попали в Германию.

Сохранилась книга Рабиндраната Тагора “Гитанджали. Жертвенные песнопения” в переводе Н. Пушешникова под редакцией И. А. Бунина³⁶, купленная и надписанная отцом в эти дни. Надпись возвращает к их совместному зимнему пребыванию в Петербурге, первой близости и взаимопониманию. Вероятно, тогда в их разговорах заходила речь о маминых юношеских впечатлениях от сказок Рабиндраната Тагора.

Милому моему Голубочику в память прогулок по Петербургу зимой 1922 г. Перед отъездом за границу. Укладка. Июль 1922 г. Волхонка. Пилка дров.

Получив разрешение на выезд, они поехали в Петроград, чтобы оттуда морем попасть в Штеттин. Это было дешевле. Много времени и сил отняло оформление багажа: “Таможенный округ (две инстанции), – писал Пастернак брату, – внешторг – художественные материалы и Женины работы – два разных отдела, Военная цензура, портовая таможня”.

Утром 17 августа 1922 года они отплыли на пароходе “Обербургомистр Гакен”. Мама запомнила, как удивительно смотрелся на светлом фоне залива силуэт Ахматовой, пришедшей провожать своего друга Артура Лурье. Этот образ стал центральным композиционным моментом стихотворения Пастернака “Анне Ахматовой” 1929 года.

³⁴ Черняк Е. Я. Из воспоминаний / Борис Пастернак. Полное собрание сочинений. М., Слово. 2003–2005. Т. 11 (далее: ПСС).

³⁵ Я утверждаю, что М-м Евгения Лурье-Пастернак была моей очень прилежной ученицей и в течение двух лет очень успешно работала в моем классе в Московской школе изящных искусств. Художник Петр Кончаловский. Москва. 25 июля 1922. (Фр.)

³⁶ Издательство писателей в Москве, 1914.

В Берлине им был написан небольшой стихотворный цикл, посвященный воспоминаниям детства, нахлынувшим при встрече с родителями, путешествию и первым впечатлениям от Германии. Среди них прекрасное описание отплытия из Петрограда и купания в Северном море под Штеттином.

Не осмотраюсь и времени не выбрав
И поглощенный полностью собой,
Нечаянно, но с фырканием всех фибров
Летит в объятья женщины прибой.

Где грудь, где руки брызгавшейся рыбки?
До лодок доплеснулся жидкий лед.
Прибой и землю обдал по ошибке...
Такому счастью имя – перелет.

Образ трепыхающейся рыбки восходил к той “золотой, рыбковой уклончивости”, о которой писал отец в своем первом письме к маме в 1921 году. Потом эти метафоры получили развитие в письмах к ней летом 1924 года, когда он мучился и просил прощения за то, что из суеверного страха потерять ее не позволил себе в то счастливое время любви написать книгу о ней. Об этом же говорится и в стихотворении “Перелет”, причем запрет на любовные стихи объясняется шутивно прагматически:

И ты поймешь, как мало было пользы
В преследованьи рифмой форм ее.

Втянутый заранее в берлинскую литературную жизнь публикациями в прессе и извещениями о приезде, отец не хотел оставаться в этом “безликом Вавилоне” и рвался в немецкую провинцию, чтобы начать там работать. Он взял с собой рукопись романа о Жене Люверс и Сергее Спекторском и хотел его довести до конца. В издательстве “Геликон” выходила его новая книга стихов “Темы и варьяции”, у Гржебина, перебравшегося в Берлин, – второе издание “Сестры”. Мама хотела продолжать образование, и вскоре после приезда в Берлин они вдвоем поехали в Веймар, город Гёте и Шиллера, может быть, в надежде найти пристанище. Там находилась знаменитая Академия живописи, но маме резко не понравился метод преподавания, а бедствия послевоенной Германии были так болезненно ощутимы в провинции, что они не решились там остаться. Проведя там несколько “счастливых”, по папиным словам, дней, они отправились в Дрезден. Мама вспоминала свои первые впечатления от картин Дрезденской галереи, когда в 1955 году в Музее изящных искусств была открыта выставка перед отправкой этих вещей в Германию.

После возвращения в Берлин она писала в Москву Шуре Пастернаку как архитектору:

...Были мы в *Weimar*’е, – левые – теоретически проходят понятие формы, конструкции и т. д., правые – рисуют акварелью резеду для ботанического атласа и т. д.

Были мы у одного, судя по старым работам, талантливого художника голландца *Doesburg*’а. Но от темной голландской живописи он перешел к упрощению, к квадратам, я надеюсь, что упрощая квадратики, он придет к чистому холсту. Он перешел также от живописи к архитектуре (я постараюсь достать и выслать Вам журнал, где есть его дома) и внутренней отделке квартир, мебели. Моды тоже вышлю, но все это не самостоятельно, я не говорю.

Шурочка, рисунок мне не близок, я стараюсь уйти от сухой однообразной линии. Может быть, одна линия (без тушевки), но характерная для каждого места, иногда совсем исчезающая, а иногда резко подчеркивающая характер – но это – в идеале живописный рисунок.

Мое письмо отрывочное и резкое. Но это потому что осень. Ветер, листья падают, холодно, сурово (не мне сейчас: а на дворе или где-то в будущем).

Слова о рисунке, которым она не хотела заниматься, по-видимому, относились непосредственно к надеждам на помощь Леонида Осиповича Пастернака, опытного преподавателя, для которого основой искусства было умение рисовать с натуры, а современные течения, которые преподавались во ВХУТЕМАСе, пренебрегающие верным рисунком, были ему чужды и далеки.

Попытки связаться с преподавателем в Париже, которому рекомендовал маму Кончаловский, не удались. Ехать наугад одной она не решалась.

Мама искала мастерскую и хотела работать самостоятельно. Папина сестра Жозефина вспоминала о их жизни в Берлине.

Мы с Женей подружились, – писала она. – Она рассказывала о своей жизни до встречи с Борей, о своем искусстве, и в ее словах была странная смесь страсти и нежности, и по ее то лукавой, то обворожительной улыбке можно было почувствовать, как она уязвима, как беспомощна, несмотря на притворную гордую независимость. Боря, конечно же, тоже об этом знал и, соответственно, относился к ней скорее, как к сестре, чем как к любовнице. Да, к любимой сестре, но сестер, в конце концов, оставляют, когда более сильные чувства уводят от домашнего круга...

А тогда они были молодоженами, счастливыми и безмятежными. Боря находился в прекрасном настроении, он радовался, что снова вместе с родителями, радовался, что оказался в Берлине, радовался короткому очарованию своего светлого отдыха. Во время путешествия морем из Ленинграда у него ветром сдуло шляпу, надо было купить новую, и как мы дурачились, отправившись ее покупать!.. Берлин был в новинку для Жени; это ее первая поездка за границу. Она упивалась новыми впечатлениями. Иногда ей удавалось вытащить с собой Борю – он не особенно любил достопримечательности, хотя, конечно, со своим чувством реальности он интересовался всем, что его окружало. Нищета в трущобах северных районов города – какой контраст с бурлящей жизнью в фешенебельных кварталах! Если я хорошо помню, авторские гонорары Боре выплачивались в долларах, и он свободно тратил деньги. Он испытывал стыд, видя вокруг бедность простых немцев, и поэтому давал чаевые с непревзойденной щедростью и осыпал деньгами бедных оборванцев с протянутой рукой...

Женя была художницей. Отец, будучи строгим судьей, сказал, что она очень талантлива. Женя высоко ценила отца, но в своих художественных стремлениях не отвергала “левые” тенденции в искусстве. Будучи разборчивой, она проявляла сдержанность, а ее работа отличалась безупречным вкусом...

С самого начала молодожены поселились в пансионе “Фазаненок”, в большой комнате рядом с родителями. Они, особенно Женя, посещали галереи, встречались со старыми и новыми друзьями. Но после нескольких безоблачных недель Боря стал проявлять беспокойство. Что он думал делать в этой чуждой ему атмосфере? Его также не привлекала жизнь русских литературных кругов. Посещение кафе, лекций и собраний. Время от времени – да, но не как занятие, не каждый вечер. Боря, как и отец, ненавидел праздность, и они оба не любили “развлечений”. Он стал раздражительным...

Наступила зима. Женя страдала от гингивита и от Бориного равнодушия. Она плакала. Они ссорились... Боря не выказывал какого-либо бессердечия, просто ему, видимо, надоела абсурдность всего спектакля – пансиона, отсутствия уединения, неуправляемых настро-

ений и слез жены. И хотя нам это показалось чрезмерным сумасбродством, он решил снять отдельную комнату. Это была крохотная комнатка на том же этаже, но по крайней мере он мог в ней спокойно работать. Да, Боря сумасброд, – думали мы. Не он ли купил себе самые дорогие перчатки, он, отказавшийся поменять свое старое потертое пальто на новое? Разве не он выбросил в раздражении розовый абажур из своей новой комнаты и купил себе другой, не действующий ему на нервы? Он был щедр: услышав, что Лида мечтает о велосипеде, он купил ей его и, как я уже говорила, щедро раздавал чаевые³⁷.

В Берлине Женя написала несколько работ, среди них интерьер комнаты, где они жили с папой, портрет его сестры Лиды. Для работы мама обтянула холстом стену, чтобы скрыть цветные обои.

Она сделала два удачных портрета отца, но он не соглашался позировать специально и читал во время сеансов Диккенса, собрание сочинений которого они привезли из Москвы. Поэтому на обоих портретах у него опущенные веки.

В этих работах отразилось умение художницы передать сходство с натурой и, несмотря на сказанное в письме к Шуре о нелюбви к рисунку, хорошее им владение, на чем сказались также увлечение обобщенным восприятием формы и желание рисовать плоскостными поверхностями и прямыми линиями. Колористическая гамма масляного портрета тоже необычна для позднейшей манеры художницы своим насыщенным и плотным цветовым содержанием.

Они встретились в Берлине с Сергеем Сахаровым, который собирался в Париж и обещал написать о тамошних условиях. Вскоре пришло от него письмо:

Женя! Уезжая из Берлина – я не смог с Вами проститься по причине, может быть, и не так уж уважительной, как это мне кажется теперь.

Итак, вот уже полтора месяца, как я живу в Париже и это только первое письмо, но... даже не знаю, что сказать после этого *но*. Помню из нашей Берлинской беседы Вашу фразу, что Париж – это последняя инстанция, и хочу Вам возразить теперь, что нет, нет, нет и еще раз нет. И не потому *нет*, что Париж плох чем-либо – нет, совсем по-другому.

Пропутешествовав большое количество километров по миру, я как-то странно с первых же дней подумал о том, что дело не в том, где живешь. А в том – чем живешь и как. Никакому разочарованию, конечно, нет места. Особенно это могу сказать про Париж, который совершенно изумителен, это зрелище бесподобное, и конечно, такая казарма, как Берлин, не может идти в сравнение. Вы понимаете, о чем я говорю, и полагаю лишним писать Вам, что это, с моей точки зрения, так сказать живописной, что же касается комфорта жизненного, то Берлин во много раз лучше Парижа. Квартиры в Париже вообще неважны и не удобны ни по помещению, ни по свету.

<...> Вы, наверное, очень интересуетесь тем, а как Лувр и что французы. На это могу сказать, что Эрмитаж одно из величайших по своим достоинствам собраний. Такого Тициана, как там, нет. В Лувре мне нравится большой Веронез Кана Галилейская, два Веласкеза – портреты, Олимпия Манэ, рисунки Леонардо и Микеля. Пожалуй и все. Стоит ли говорить, что есть много хороших вещей, но эти хорошие вещи не принадлежат к числу тех, ради которых необходимо ехать в Париж. Про французов скажу, что кроме Манэ, вы в Москве видели все едва ли не лучшее. Конечно, много картин французов по частным собраниям, но как туда проникнуть. Думая пойти на выставку не то Осеннего, не то Зимнего Салона – слышал о нем, что это пакость, какой мы и в мыслях не видывали.

Да! Делякруа мне понравился меньше, чем я ждал.

³⁷ Пастернак Ж. Л. Хожение по канату. С. 243.

Вообще у меня такое состояние, что я все с удовольствием послал бы к чорту – и за возможность работать в сносных условиях, но где бы то ни было – в любой дыре, что называется, отдал бы все, подписал бы контракт хоть с чортом – так как желание наше (каждого из нас) осуществить хоть одну из грез, выразить вполне хоть одно из видений, вот последняя инстанция, вот настоящая потребность, вот истинная действительность, вот подлинное счастье – словом все! Но что делать – этой-то возможности и нет <...>

Мои лучшие пожелания и искренний привет.

Сергей

Если вздумаете написать о себе, буду рад, а если будете писать, то пишите побольше о том, как живете и работаете. Знать о Вас это мне очень хотелось бы. Мой адрес: Paris. Rue Lafayette 135. Hotel du Nord. Сергею, т. е. Monsieur S. Sakharoff.

Сахаров также писал, что заболел, простудившись в своей нетопленной мансарде, но несмотря на разочаровывающее содержание его письма, Женя пыталась получить визу и осуществить свою мечту.

Пересылая через издательство “Геликон”, где печатались “Темы и варьяции”, свои письма в Москву, отец неожиданно разговорился с Абрамом Григорьевичем Вишняком³⁸, которого интересовали переводы папиного друга поэта Сергея Боброва из Алоизиуса Бертраана “Ночной Гаспар”. В письме Боброву он ярко описал сцену, “согретую двумя голландками и до ослепительности раздутую, взбитую и смыленную в обмылки двумя дуговыми лампами”, в которой Жене удалось заинтересовать издателя прозаическими произведениями Боброва. В “Геликон” был прислан фантастический роман Боброва “Изобретатели идитола” и вслед за ним ожидался приезд самого автора.

Вспоминавшие встречи с Пастернаком в Берлине не упоминают мамино присутствие на литературных вечерах в кафе “Леон” и “Прагер-Диле”. Ее заметил там только Виктор Шкловский, посвятивший молодой паре несколько добрых слов в своем “Zoo”:

“В Берлине Пастернак тревожен. Человек он западной культуры, по крайней мере, ее понимает, жил и раньше в Германии, с ним сейчас молодая, хорошая жена, – он же очень тревожен”³⁹.

Берлинские развлечения оборвались в январе, мама с обидой и горечью рассказывала всегда о встрече Нового 1923 года в Доме искусств. Она ушла оттуда одна, возмущившись тем, что кокетничавшая с Борей художница Ксения Богуславская под конец просто уселась к нему на колени. Папа выбежал вслед. Из мамино письма 1924 года известно, что этому предшествовал разговор папы с Борисом Зайцевым⁴⁰, который пожелал ему “написать что-нибудь такое, что он бы полюбил (счастливая по простоте формулировка потребности в художестве)”, – как характеризовал слова Зайцева Пастернак⁴¹.

Отцовская работа не ладилась. Его огорчали отзывы на “Темы и варьяции”, появившиеся в начале января в издательстве

“Геликон”. Их прославили за непонятность. Это отразилось в надписи на книге, посланной Цветаевой: “Несравненному поэту Марине Цветаевой, «донецкой, горячей и адской» (стр. 76), от поклонника ее дара, отважившегося издать эти высебки и опилки, и теперь кающегося”. Она кинулась его разубеждать. Ее горячие и страстные письма сразу переросли в желание встречи, невозможность приехать к нему самой оборачивалась настоя-

³⁸ Абрам Григорьевич Вишняк (1895–1943), владелец изд-ва “Геликон”.

³⁹ Шкловский В. Б. Зоо или письма не о любви. Атенеи (Atheneum). Ленинград, 1924. С. 58–59.

⁴⁰ Писатель Борис Константинович Зайцев (1881–1972).

⁴¹ Из письма от 15 декабря 1922 г. С. Боброву. ПСС. Т. 7.

тельными приглашениями в Чехию. Переписка с Цветаевой увлекала и волновала отца, и он считал, что мама тоже должна разделить с ним его восхищение. Но поток кипящих страстей в следующих одно за другим день за днем письмах Цветаевой пугал ее и приводил в ужас. Она не могла рассматривать их с чисто литературной точки зрения.

Пастернак пытался остановить это и, прощаясь с Цветаевой за день до отъезда из Берлина, хотел объяснить ей свою невозможность переписываться.

20 марта 1923 года:

Призовите на помощь Ваше родное воображение и представьте себе жизнь со всеми ее странностями и непорядками. Осмотритесь в этом представлении: в нем найдите объяснение моего сдержанного величания Вас и дикого этого запоздания. Увы, даже и это письмо преждевременно и пронесено тайком, под полою. В чем же дело? Пройдет время, которое не будет принадлежать ни мне, ни Вам, пока станет ясно моей милой, терзающейся жене, что мои слова о себе и о Вас не лживы, не подложны и не ребячливо-простодушны. Пока она увидит воочию, что та высокая и взаимно возвышающая дружба, о которой я говорил ей со всею горячностью, действительно горяча и действительно дружба, и ни в чем не встречаясь с этой жизнью, ее знает и ее любит издали, и ей зла не желает, и во всем с ней разминаясь и ничем ей не угрожая, разминовеньем этим ей никакой обиды не наносит. Это роковая задача, что мы не встретились втроем. Тогда от этой низкой тяжбы избавлены были бы все трое. Я уверен, она полюбила бы Вас так же, как Ваши книги, в восхищеньи которыми мы с нею сходимся без тягостностей и недоразумений.

<...> Что сказать мне Вам обо всем этом, если уже и сейчас возможность писать Вам или “взяться с Вами за дело” (в чем мне пока отказано) я *заменяю* чтеньем Толстого, ну хотя бы Воскресенья, что под рукой сейчас у меня. Вы – сестра мне, – и подумайте, с какой болью я закусываю при каждой новой строчке губы, чтобы не дать прорваться этому слову величайшей нашей мужской выразительности, дабы его горячая правда не попала в беду по моей ли малости, или по Вашей молодости, или по чем еще ином, как это всегда почти бывает с лучшими, с наилучшими достояньями человека.

Надо ли Вам, *такой* сестре, так по-родному хорошо знакомой со всеми секретами породистого и *нравственно* породистого благородства (субстанция печальная и усмешливая), говорить, что не Елена книжки⁴² – моя жена, что *то* все ушло в катастрофу, в несуществование, что существование далось мне ценой перелома, что я учился долго и трудно равно душою, что полюбив, не дал этому чувству расти, а женился, чтобы не было опять стихов и катастроф, чтобы не быть смешным, чтобы быть человеком, – и что я узнал чувства делимые, множественные, бранные и фрагментарные, не выражающиеся в стихах и их не знающие, но как бы наблюдающие человека и его сердце и их безмолвно обвиняющие⁴³.

После Нового года Пастернак перестал бывать в обществе и засел за прозу. К сожалению, написанное в то время не сохранилось. Он не был им удовлетворен и рвался вон из Берлина, к тому же вскоре об этом заговорила и мама. Она хотела скорее вернуться в Москву. Отец не мог уехать, не побывав хотя бы в Марбурге, где провел такое значительное для него лето 1912 года. Он втайне надеялся, что мама очаруется так же, как и он, старинным средневековым городом, и им удастся там остаться. Но, как он писал в “Охранной грамоте”, не сумел его ей приблизить, в чем провинился “перед ними обоими”. Была зима, и страшный вид послевоенной нищеты и разорения угнетал душу и ничем не напоминал прежнего оча-

⁴² Героиня книги “Сестра моя жизнь” Елена Виноград.

⁴³ ПСС. Т. 7.

рования. Посетив удивительную художественную галерею в Касселе и проехав по Гарцу, они вернулись в Берлин.

В начале февраля мама писала Сергею Сахарову в Париж, сохранился черновик ее письма:

[Сережа, как раз перед получением Вашего письма я думала о том, что Вы вот все-таки в Париже, и завидовала. Я сама виновата (как всегда), но были оправдания, я думала, что все же скоро попаду в Париж. Я долго не работала и боялась после такого перерыва попасть в Париж. Может, все это было глупо и объясняется нерешительностью и растрепанностью, которая на меня напала первое время за границей].

Завидовала я Вам, Сережа, что Вы все-таки в Париже, особенно в последнее время, потому что сорвалась моя последняя возможность туда попасть. Уже хлопотала я о визе и т. д., думала, что в конце января поеду. Но сорвалось и надолго. Вероятнее всего, что через месяц я буду опять в Москве.

Хорошо Вам, побывав, говорить, что можно было бы и не ездить, но хуже вернуться не доехав. В Дрездене, я Вам говорила, много очень хорошего, особенно Веронез, была я еще в Касселе, галерея маленькая, хороший Тициан (герцог какой-то с собакой, собака очень хороша).

Когда Вы уезжали, писала спину, потом месяца полтора ничего не делала, теперь пишу мужской портрет трудно и плохо.

Напишите, Сережа, только поскорее, потому что недели через три или раньше меня может не быть в Берлине, думаете ли Вы оставаться в Париже, хотите и есть ли у Вас возможность вернуться в Россию. Может, хотите, чтоб я что-нибудь передала вашим в Москве.

Вскоре пришел ответ:

Paris 26. II.23.

Дорогая Женя!

Только что, на ходу, получил Ваше письмо и на ходу же отвечаю. Сначала очень обрадовался, узнав еще по конверту, что это от Вас, а потом удивился, *почему уезжаете...* Очень жалею, что Вам не удалось добиться визы. Конечно, Вы правы, что лучше побывав придти к выводу, что это не так важно, чем “не доехать”. <...> Вернуться домой, побывав в Берлине или Германии, это значит не побывать за границей в “нашем” смысле. Вы спрашиваете – насчет моего возврата домой. Да, я думаю, но только не знаю, как быть. Ведь там опять потянут на военщину или вообще что-нибудь вроде этого. Это мне не улыбается. Лучше метаться, как щепка в проруби, в Париже, чем служить в Москве. Когда будете там, напишите мне относительно этого то, что удастся Вам узнать, но только *по-настоящему*. – <...> Очень благодарю за Вашу готовность исполнить мои просьбы – но единственно, что может быть – это повлиять на “моих”, которые страшно скучают и зовут, и беспокоятся. Вообще же если что будет, я Вас попрошу.

Старайтесь больше работать. Не падайте духом, дабы не было “трудно, вяло, плохо”. Я убежден, что еще увидимся и, может быть, скоро. Итак – моя просьба – узнайте о военщине.

Ваш Сергей.

Переписка на этом оборвалась, через сестер Сахарова мама узнавала, что он некоторое время выставился на “Осеннем салоне”, а потом внезапно бросил все и уехал на Афон, где подвизался под именем Софрония. Мама часто вспоминала его, но ничего не знала о его судьбе. А судьба его была удивительная, в 1930-е годы он вернулся в Париж, где окончил Духовную академию в Свято-Сергиевском подворье, и священником был направлен

в Англию, где в Эссексе основал православный монастырь. Мы решились привести эти письма, потому что он стал видной фигурой в Церкви. Он скончался в 1993 году, и ведутся разговоры о его канонизации, и нам хотелось осветить этот эпизод маминой биографии.

Мама торопила отъезд домой. Она очень плохо себя чувствовала.

В ответ на вопрос Боброва о причине внезапного возвращения в Москву, отец писал:

Пусть кажется тебе это решение беспричинным и опрометчивым, — ехать я должен, — причины его скажутся и станут тебе известны. Без крепящей и довольно сытной порции некоторого ужаса я об этом возвращении не думаю. Не говоря уже о том, что как не хочется уезжать мне отсюда после моего недавнего наезда в Марбург, я еще вдобавок и издержался почти что в конец (только-только на поездку хватит). Как это ни странно, последнее обстоятельство привязывает меня к Германии еще более ее уездной готики: здесь все-таки можно себя оправдать и русскому писателю, даже и писателю, несколько на это обозначение похожее.

Состояние в героях “Тружеников моря” не навязано тут каждому несогласному с Гюго⁴⁴.

Последние слова отчетливо говорят о тех трудностях, которые он сопоставляет с тяжестью жизни “тружеников моря” из романа Гюго и которые ожидают их в Москве. И здесь главное не только та одна комната, в которой они будут вынуждены жить еще многие годы, но и понимание того состояния “неизбежного самоугнетения” в ответ на неуклонность казенного однообразия, о чем он пишет Боброву.

Родители не решились плыть на пароходе, что сильно сократило бы им расходы, и 21 марта 1923 года уехали поездом, отправив вещи морем.

Яков Захарович Черняк 10 ноября записал папин рассказ о получении книг.

Книги долго лежали в подвале у З. И. Гржебина в Берлине... Прошло восемь месяцев. Теперь Пастернак эти книги получает — расплзшиеся, размытые сыростью и водой, отсыревшие, разбухшие. “Когда я их увидел, у меня слезы подступили к горлу... Не потому, что это мои книги, жалко и т. п., нет... ведь это просто больно, когда так обращаются...” Часть книг находится в цензуре. Цензор их забрал, что называется, на вес. Безобразие и анекдот. Им забраны книги с пометкой Р<азрешено> Ц<ензурой>, изданные во время революции в России, увезенные Пастернаком из России года полтора назад и возвращающиеся теперь. Среди книг, задержанных цензором, например, русский старый перевод Диккенса, современные революционные издания и пр. Пастернак пристыдил цензора, и тот, кажется, на днях выдаст ему все. По поводу этого Пастернак говорит: “Цензор меня знает, заявляет: вы человек известный, вам все будет выдано, — а что, — прибавляет Пастернак, если бы я был менее известен, не получить мне тогда книг?”⁴⁵

Летом родители сняли дачу в Братовщине по Северной железной дороге. Позднее, в письмах 1924 года, отец вспоминал предыдущее лето и козочку на соседнем участке, чем-то похожую на маму. Она была беременна.

Я родился 23 сентября в частной лечебнице А. Эберлина в Климентовском переулке. Мама рассказывала, что назвала меня своим именем, потому что чувствовала такую неразрывную связь со мной, как со своей собственной частичкой, к тому же ей хотелось, чтобы в сочетании с отчеством в моем полном наименовании присутствовали бы оба — и мать, и отец.

⁴⁴ Письмо от 19 февраля 1923 г. ПСС. Т. 7. С. 447.

⁴⁵ Черняк Я. З. Записи 1920-х годов. ПСС. Т. 11.

Отец объяснял выбор моего имени в письме родителям: “Он такой крошечный – как мы могли дать ему новое, незнакомое имя? Поэтому мы выбрали самое близкое для него имя: имя его матери, Женя”⁴⁶.

Первые впечатления отцовства и обстановка больницы нашли отражение в главах “Доктора Живаго”, посвященных рождению сына.

Мама вспоминала, что это был ясный, солнечный день, и когда через две недели она вернулась домой, нас ожидали Шура и Ирина Николаевна Вильям в убранных коврами и цветами комнатах. Но вскоре по приезде мама надорвалась, подымая ведро с водой, когда мыла пол. Это стало причиной ее частых последующих болезней. Найденная тогда няня оказалась практически бесполезной. Я помню рассказы о том, как Евдокимовна, поскользнувшись зимой во время прогулки со мной, уронила меня на рельсы перед носом подходившего трамвая. После тяжелой зимы, усугубленной нездоровьем, вымотанная вконец кормлением и заботами обо мне, мамочка в начале мая уехала в Петербург к родителям. Она надеялась поправиться у них и рассчитывала на обещанную матерью помощь летом на даче, которую собирались снять совместно.

Осенью 1923 года отец написал большую “отчетную”, как он ее называл, – вещь под названием “Высокая болезнь”, в которой стремился показать причины исчезновения лирики из современной жизни. Маяковский напечатал ее в “ЛЕФе”, несмотря на протест своих сотрудников.

Написанная в феврале 1924 года повесть “Воздушные пути” была послана в Берлин для организованного Горьким и Ходасевичем журнала “Беседа”. Одновременно повесть была взята в журнал “Русский современник” вместе с некоторыми из стихотворений берлинского цикла. В повести на материале современности была заявлена тема трагической противоестественности насильственной смерти, что вызвало цензурные сокращения в “Русском современнике”, а “Беседа” по требованию Ходасевича выкинула повесть из очередного номера. Полный текст повести теперь невозможно восстановить.

В письмах отца маме содержатся прозрачные намеки на грустную судьбу публикации в “Современнике”.

Проводив нас на вокзал, отец сразу сел писать письмо.

8. V.24. <Москва>

Дорогая Гулюшка! У тебя сегодня вероятно страшно трудная ночь. Я себе живо с болью рисую, как ты с трудом над Женичкой ворошишься, колдуешь, тихо и мучительно хлопочешь. Если ты не перешла в другое, двухместное отделение, то много ты муки примешь за этот переезд. В конечное благополучие его я горячо верю, улыбку вы довезете оба, чудесное ваше сходство страшно усилилось в купе, когда и ты вдруг стала беленькой маленькой девочкой, чуть, чуть старше Жени и много худей. Так в деревнях сестры подростки нянчат маленьких братьев.

Трудностей дороги мы все-таки не учли, и слава Богу. Как ни горько такой вывод делать, надо все же сознаться, что при меньшей решительности и наивной смелости с твоей стороны ты бы не уехала. Удивительное чувство я испытываю, думая о вас или лучше сказать живо вас в окошко купе видя. Точно вы впервые стали реально существовать. Вы отделились, стали в стороне, и разлука, как закатывающееся солнце, ровно и мягко осветила вас, сбоку и как-то снизу; в таком свете я вас никогда не видал. Ну и что же. Осязательно подлинные. Настоящая женщина и настоящий ребенок. Мои. Вот именно эти и такие. То есть на моем языке (на котором, когда-то начав лепетать и проговорив всю жизнь, я когда-нибудь

⁴⁶ Письмо не сохранилось. Текст взят из книги Жозефины Пастернак “Хождение по канату” (с. 274).

прощусь с нею) – эти два слова: жена и сын – ничего лучшего и полнейшего означать не могли. За окошком сидели идеальные образцы этих слов, единственные их изображения. Не знаю поймешь ли ты, что мне невозможно вообразить себе других *моделей* этих двух слов и для других мужей и отцов. Напиши мне поскорей о переезде и как ты себя чувствуешь.

Когда мы вышли с вокзала в город, стало внезапно как-то прохладно (как летом) и темно. Няня мелкой дрожью дрожала говоря о мальчике. Все же она видно очень привязалась к нему. Доехав до Почтамта, решил я с Мариечкой к Брику⁴⁷ завернуть. Насчет денег и видов всяких на будущее журнала. Брик уходил, комната ярко освещена, заведен граммофон, по комнате перекачивается шотландский терьер и грызет изношенную калошу, в горшках цветы, Лиля в кимоно, Оля Третьякова⁴⁸, потом входит Маяковский, потом мы с Мариечкой и Третьяковой уходим, по дороге встречаем Асеева, Коля говорит, что в четверг через неделю я и он назначены читать в Кубу, доходим до Колиных ворот, расстаемся, Третьякова предлагает зайти к какому-то японскому журналисту, который поблизости от нас будто бы живет. Я вдруг вспоминаю, что шкафы все еще отперты, тогда выясняется, что японец в Князьем дворе квартирует, я забегаю к себе, к своей радости узнаю, что няня еще не возвращалась, запираю все у себя и у Шуры, отправляюсь в Княжий двор. Разговор происходит по-английски. У журналиста в гостях молодой лощеный и разутюженный дипломат из нашей японской миссии.

На стене огромная карта Токио. Несколько цветных полос, и они покрыты густым дождем завывающих стрелок, крестами и цифрами. Цветные полосы обозначают, в какой из шести дней, что длился пожар, сгорела территория, данным цветом закрашенная. Стрелки показывают на направление ветра. Он образовывал смерчевые воронки. Смерчей было несколько. Цифры (в тысячах) говорят о числе обугленных и неиспеченных трупов. Страшно видеть, на каких ничтожных клочках земли гибла такая тьма народу.

Всего в городе сгорело 250 000. Очевидец (русский дипломат; он был в Токио во время землетрясения и последовавшего пожара и чудом уцелел) рассказал нам о неопишимо жутком, прямо сверхъестественном по ужасу явлении. Дело в том, что ветряные воронки образовывались от раскаленности воздуха. Сила же тяги была так велика, что на воздух, кружась, поднимались горящие люди, давно уже удушенные. И чем больше они обгорали, и чем больше становился жар, тем выше и тем в большем числе они взлетали. Их было множество и болтая руками и ногами, они производили впечатление живых. Дико было после этого говорить о “литературе”, о том что мы думаем о “русско-японской дружбе” и т. д. и т. д. Я на два дня взял у них несколько японских журналов. Страшные зрелища разрушений. Зловещее сочетание поэтичности пейзажа с разрушенными мостами и насыпями железных дорог. Но какая цивилизация и какое трудолюбие! Очень красноречивые картины. Надо это видеть, на словах не передать.

– Сейчас лягу спать в пустой и гулкой комнате. А вы катитесь и катитесь, шибко-шибко и ты возишься с мальчиком, и страшно трудно тебе с пеленками, с кормлением, с соседями, с криком мальчика и с их курением, и негде ведь лечь тебе, такие узкие диванчики, бедная, золотая моя. Но бог тебя не оставит и мучительность перевьется со счастливостью, как именно, не знаю, но верю, верю.

Твой Боря

Сердечный привет самой старой Женичке, твоей маме. Когда будешь моей писать, непременно о поездке напиши. И вообще, поклон всем твоим. Не давай слишком долго Х. и вообще ничему чужому при тебе и мальчике быть.

⁴⁷ Осип Максимович Брик (1888–1945), идеолог ЛЕФа, муж Лили Брик (1888–1978), подруги Маяковского.

⁴⁸ Ольга Викторовна (1895–1973), жена поэта и драматурга С. М. Третьякова (1892–1937).

Все о тебе расспрашивают, все говорят; только японец не спрашивал. А то все и так нежно.

К этому времени Петроград был уже переименован в Ленинград, на конверте папа именно так и писал название города, но в переписке его еще по-прежнему называли Петербургом.

В письме описана первая встреча с Тамидзи Найто, японским писателем, приехавшим в Москву по приглашению ВОКСа.

Гостиница “Княжий двор”, где он остановился, находилась во дворе нашего дома на Волхонке. Сохранилось несколько фотографий, сделанных в те дни во дворе ВОКСа, где изображены названные в письме лица: японец, дипломат А. А. Вознесенский, Л. Ю. Брик, Маяковский, папа и жена Сергея Третьякова Ольга Викторовна. На одном из отпечатков, сохранившихся в Музее Маяковского, Пастернак сделал надпись: “Томитесь и знайте: Тамидзи Найто”. На следствии НКВД в 1937 году эта серия фотографий послужила вещественным доказательством обвинения О. В. Третьяковой в шпионаже в пользу Японии. Ее муж, по-видимому, был расстрелян, она сама отсидела 25 лет.

Отца потрясла история страшного землетрясения 1923 года в Японии, о котором он упоминал в “Высокой болезни”. Повторяя мысль о несопоставимости ужасов землетрясения с “литературой” и вопросами “русско-японской дружбы”, которым была посвящена встреча с Тамидзи Найто, он возвращался к аналогии извержения Фудзиямы и гибели Геркуланума и Помпеи. В “Высокой болезни” он возмущался “кощунственной телеграммой” с выражением сочувствия рабочему классу Японии:

Уже я позабыл о дне,
Когда на океанском дне
В зияющей японской бреши
Сумела различить депеша
(Какой ученый водолаз)
Класс спрутов и рабочий класс.
А огнедышащие горы,
Казалось, вне ее разбора.

В конце письма, называя мою бабушку Александру Николаевну “самой старшей Женичкой”, папа подтверждал некоторое единство моей мамы в трех поколениях – в ее матери и сыне, подкрепленное единством наших с ней имен. Но в то же время он очень ревниво оберегал нас от других членов семьи – чужих. Буквой Х. он обозначает мужа маминой сестры Анны Абрама Бенедиктовича Минца, которого в семье звали Хиля.

В наше отсутствие папа хотел хорошо поработать, чтобы вытащить семью из мучительного и затянувшегося безденежья. Не было денег на дачу, и мама взяла с собой свою золотую медаль за окончание гимназии, чтобы продать, если папа не успеет вовремя выслать ей деньги. Задерживалась выплата гонорара за “Сестру мою жизнь”, отданную в Госиздат, и, не дожидаясь его, отец сразу принялся за выполнение заказанных ему Укриздатом переводов современной революционной немецкой поэзии для антологии, в которой активно участвовали поэты Дмитрий Петровский и Григорий Петников⁴⁹. Книга “Молодая Германия” вышла в Харькове в 1926 году. В переводе Пастернака там представлено 11 авторов и более 20 стихотворений.

⁴⁹ Григорий Николаевич Петников (1894–1977).

Среди неотложных дел, которые должны были облегчить тяжесть коммунального быта, доведившего мамочку до изнеможения, было устройство готовых обедов в столовой КУБУ (Комиссии по улучшению быта ученых), расположенной на Пречистенке. Там можно было обедать и брать еду на дом.

9. V.24. <Москва>

Сегодня жаркий солнечный день, лето, и со двора несет теплой вонью пригретых отбросов. Встал утром с быстротою пожарного, нет действительно, – и в полчаса умылся, прибрал комнату, попил чаю, покрыл наглухо Женичкину кровать простынями, вообще оголил комнату. – Шура ушел в Муни⁵⁰ и в ожидании его я вознамерился в том же пожарном темпе, который меня подымает, молодит и избавляет от всех страхов, заняться переводами для Укриздата, которые все же исполню, урывками, на затычку. Как вдруг – Горбунков!⁵¹ К сожаленью я не успел предупредить соседей, что на все лето я перестаю бывать дома, и этот хлопотливый и юркий ценитель времени успел ко мне проскочить. Пожарный сбор на нынешнее утро был сорван. В 12 час. пришел Шура и вскоре та дама, которой нужен бандаж. Дала червонец. Между прочим ей и люлька понадобится. Сколько она нам стоила, и что у нее за нее взять? Потом мы занялись зимними вещами и коврами и провозились с ними до 3-х. Все выбито и лежит на диване под старой простыней. Купим нафталину и сложим сегодня же. К няне приехала дочка, славное безмолвное и смущающееся существо. Они внизу сидели и стерегли вещи. Няня попросила позволить ей одну ночь тут переночевать. Я разумеется позволил, что несколько мне испортило отношения с Шурой, которого ковры, жара и пыль истомили. Потом случилось недоразумение с обедом. Я еще с Кубу не организовался, – там надо еще вперед заявление на обеды подать и разрешение получить. О нежелании Паши и Ю<лии> Б<енционовны> давать свои примусы в пользование няне я ничего не знал. Вскоре эта тайна всплыла наружу во всей мгновенной остроте и пикантности. Устроились по-студенчески и пообедали тремя сортами хлеба, яйцами и колбасой. К вечеру может быть будут котлеты, но не няниного изготовления. Сейчас отнесем белье китайцам⁵². Потом займемся начинкой сундуков. Пианина я еще не передвинул в вашу комнату и если не говорить о пожарной прыти, то в остальном все складывается не сразу так, как я думал. Но на чтение в Кубу я согласие дал. Выступлю с Колей. Женичка, начинаются звонки по телефону, – всякие знакомые и знакомыя⁵³, то, чего с тобой не бывало. При тебе была другая черная и оборотная сторона, нежели это. А теперь, как когда-то, когда я был одинок и что-то делал: тогда, до встречи с тобой, главная трудность и опасность (я их боялся) была в этих вдохновенных звонках. Целую.

<11 мая 1924. Воскресенье. Москва>

Женичка! Набрасывая сейчас ночью переводы идиотских немецких стихов, я прихожу в волнение и тянет меня к настоящей работе. Но эта неизвестность насчет дома тучей повисает надо всем. Как это возмутительно! Я хочу пойти к К<аменеву>⁵⁴, но ты знаешь, как

⁵⁰ Московское управление недвижимым имуществом, где надо было заниматься отстаиванием квартиры, на которую посягал Наркомпрос (Наркомат просвещения).

⁵¹ Митрофан Петрович Горбунков (1888–1964), историк искусств, знакомый Пастернака по Марбургскому университету.

⁵² Имеются в виду китайские прачечные.

⁵³ То есть знакомые мужского и женского рода (старая форма прилагательного).

⁵⁴ Лев Борисович Каменев (1883–1936; расстрелян), партийный деятель.

мало сбыточно это желание. По-настоящему мне бы взяться сейчас за самое архифантастическое что-нибудь, прописать часов до 3-х, с тем чтобы завтра это начало на меня со всех деревьев глядело, глазами всех домов, жаром накалированного сквера. И так бы утро встретить, и утром бы продолжать. Ан не тут-то было. Завтрашний день надо будет начать с записки няни (на Петровке) и что всего противнее, с заготовки приема у К. Хочу через Левина⁵⁵ как-нибудь. Горько, горько. Боюсь, что во все лето положение не изменится и все-то будут деньки такие во власти и в ведении у немыслимейшей и бездарнейшей ерунды, и ни одного своего. Сегодня обедал у Л<ьва> С<оломоновича>⁵⁶ и на сладкое три битых часа слушал его произведение. Оно обнаруживает в писавшем хорошие качества, человек этот с головою и с сердцем, но литературой эта вещь не отдает и отдаленно, хотя и не окончательно безграмотная. Мучительно было все это ему выкладывать. Я ему сказал, чтобы он остерегся обольщаться такими “надеждами”.

Понедельник утром.

Носил в Наркомпрос Столяровское ходатайство⁵⁷. Вероятно Наркомпрос людей своего ведомства выселять не будет. А что соседи делать будут? Просил Левина о К. Неудобно это видно ему, но говорил не об этом, а о том “Что получилось бы, Боря, если бы К. всеми квартирными делами занимался?” И его правда. Посоветовал написать К. письмо. По дороге домой встретил Бруни и Осьмеркина⁵⁸. Посплетничали, поныли, позубоскалили. Кланялись тебе. Вышел журнал “Русский современник”, но я его не читал, получу только в среду. А знаешь что, ты б его может быть купила, или расхвалила кому-нибудь, пусть купят, а ты почитай. Там про нас с тобой что-то написано, одна статья специальная, в другой, Тыняновской, – между прочим. Боюсь рекомендовать, а ну как ругают. Но если ты действительно моя девочка и меня любишь, тебе любопытно будет. Женичке, верно понравится, ведь он еще покудова не соперничает со мной. Однако как понять, дорогая моя детка, что ни слуху от тебя ни духу? Все ли у твоих благополучно. Ну а сама ты, отоспалась ли ты уже за бессонный этот год, и стала ли прибавляться в весе? Мне это лето много даст. Надеюсь, поработаю. Надеюсь, что и музыкою полечусь. Во всяком случае, и наверняка знаю, – исправлюсь. То есть зиму встречу как примерный отец, на службу поступлю, каждую минуту стану употреблять с пользой и когда-нибудь, когда-нибудь впоследствии вас в Англию перевезу. Пиши же, родная моя.

Женичка, пиши мне милая, я прямо не понимаю, как это ты можешь не писать мне?

Много сил и нервов отнимали угрозы выселения. Нижний этаж дома занимал Институт народного образования, который расширялся и забирал в свои руки одну квартиру за другой. Отец писал маме о хлопотах Михаила Павловича Столярова, которого коснулась уже рука Наркомпроса, и он тоже занимался отстаиванием своей квартиры. Письма и ходатайства, рассылаемые в разные инстанции, давали некоторую надежду на то, что к ним прислушаются. Но через несколько дней забота снова вставала во всей своей неизбежности, стучась в дверь кулаком встревоженного соседа, если не Столярова или его жены Веры Николаевны, то старика Василия Ивановича Устинова.

⁵⁵ Лев Григорьевич Левин (1870–1938; расстрелян), врач, консультант лечебно-санаторного управления Кремля.

⁵⁶ Лев Соломонович Лейбович (псевдоним: Ларский; 1883–1950), писатель.

⁵⁷ Философ Михаил Павлович Столяров (1888–1937; расстрелян), сотрудник Наркомпроса.

⁵⁸ Художники Лев Александрович Бруни (1894–1948) и Александр Алексеевич Осьмеркин (1892–1953).

Затем папа писал о том, что в первом номере журнала “Русский современник” вышла статья Софии Парнок “Борис Пастернак и другие”, посвященная современной поэзии. Там же в статье “Литературное сегодня” Юрий Тынянов одобрительно отозвался о “Детстве Люверс”. Журнал издавался в Ленинграде, и папа думал, что мама его купит и почитает, но это было слишком дорого.

<12 мая 1924. Москва>

Дорогая Гулюшка! Если бы у меня не было других путей к тебе, кроме этого, распространнейшего (пути опасений и беспокойств), то я стал бы уже беспокоиться.

Но я не боюсь за тебя и за мальчика, а просто мне грустно, что нет еще никакого знака от тебя, а ты ведь так полно и непосредственно умеешь в них сказываться. У меня такое чувство, будто мы всегда были втроем. И когда нынешним вечером я шел по улицам уже совершенно летним, разгоряченным, умашенным горьким запахом тополя и бульварной волною пота и дешевых духов, и мне взгрустнулось, и перенесся я в далекое-далекое прошлое, раннее, студенческое (в то время эти огни и запахи так меня электризовали), то казалось мне, что и вы были тоже тогда и что и тебе и мальчику должно быть так же грустно и по тому же поводу. Сегодня сам того не желая, Дмитрий обставил меня не менее, чем на 4 червонца. Я решил этих бездарных немцев все-таки перевести, всякая копеечка дорога, вот я и засел с утра за них и трудясь над ними, заходя воображал, с какой руготней и настойчивостью в требования денег я их сдам. Оказывается в то же время (утром) Дмитрий был в Укриздате и нерезонно горячился по моему поводу. Но об этом я узнал вечером. Он пришел ко мне и рассказал, что произошло с ним в Укр’е. Его спросили, что с моими переводами. Он ответил, что я ими сейчас занят. На это секретарь издательства будто бы сказал: “Что за нахальство! – Делает?! Он давно уже должен был их сделать!” Тут Дмитрий за меня страшно оскорбился, потребовал взяться слов обратно, стал на говорившего наседать, на его крик сошлась публика, и по словам Дмитрия немного до драки недоставало. Там легко конечно сообразят, что Дмитрий своего рыцарства от меня не скроет и что мне инцидент известен. Это-то и связывает меня; я от работы откажусь. Что же до самих слов, то на мой взгляд слово “нахальство” при современной выразительности словаря ничего не значит, и само по себе (конечно не в глаза сказанное) меня не обижает. Вот смешное происшествие!

Очень жалко что Х.⁵⁹ не приехал; от него бы я о тебе узнал. Сегодня были Дм<итрий>, Лев Соломонович, Ник<олай> Ник<олаевич>⁶⁰. Завтра обедаю у Татьяны Николаевны⁶¹ с выслушанием мужниных произведений. Сегодня весь день пошел не так, как надо. Он злой и дурацкий с утра. Открылся он появлением В. Н. Столяровой с известием, что шансы домовые на невыселенье худы. Надо будет похлопотать. Потом пошли посещения. Теперь сижу Шуры поджидаю, у Вильямов, – собака, и придет с черного хода. Напоминает зиму и я по этому случаю немного раздражен. А уже два часа. Тебя не сердит моя болтовня и не наводит скуки?

Но ты ведь, говоря для мягкости, – настоящая свинка морская! Когда же ты мне напишешь? Крепко тебя целую. Приучай Женичку к шуму, благо тебе это сейчас ничего стоить не будет. А то ведь я его с музыкой встречу.

Сообщи точный почтовый адрес мамы.

⁵⁹ Абрам Бенедиктович Минц, муж сестры Анны.

⁶⁰ Николай Николаевич Вильям (псевдоним: Вильмонт; 1901–1986), поэт и историк литературы.

⁶¹ Татьяна Николаевна Лейбович (Зильберман; 1887–1964).

Перечисляя знакомых, посещавших его в это время, папа назвал Льва Соломоновича и Татьяну Николаевну Лейбовичей, которые жили по соседству в Ильинском переулке и часто приглашали его к обеду. Лев Соломонович начинал тогда писать прозу, через несколько лет он стал известным писателем под именем Льва Ларского. Татьяна Николаевна, родная сестра Ф. Н. Збарской, была врачом.

Дядя Шура ухаживал в то время за своей будущей женой Ириной Николаевной Вильям, с родным братом которой Николаем Николаевичем папа тогда близко дружил. Шура собирался в скором времени ехать в Германию к родителям, и папа, желая уменьшить его расходы, хлопотал в консульстве об освобождении брата от денежного залога.

В письмах часто упоминается папина музыка, он пишет, что лечится ею и что встретит ею наше возвращение домой. Дело в том, что прошлой зимой он был вынужден сдерживать свои привычки к ежедневной игре на рояле, чтобы не будить младенца. Это, видимо, было ему нестерпимо тяжело. В наше отсутствие он вознаграждал себя за долгое воздержание. Я очень хорошо помню отца за роялем, все мое детство прошло под его музыку. Он любил играть мне, приучая меня слушать. Заставлял понимать значение того, что играет, специально для меня изображая шум московских улиц с трамвайными звоночками, зверей и птиц, виденных нами в зоопарке. Радовался вместе со мной, когда я верно угадывал изображенное.

<10 мая 1924> Ленинград, суббота 11 ч. вечера

Боричка, спасибо, получила твое письмо. И от того ли, что неожиданно, а может, и не потому, но обрадовалась очень и воспрянула духом. А вчера было мне тяжело и мрачно.

Ехали мы чудно, мы остались в том же купе, и столько же оставалось в нем народу. Но когда подняли верх и положили крахмальное чистое белье, стало спокойно и просторно, как просторно и уютно было в каютах парохода. Женя спал, утром разговаривал и пел и гулил, потом опять заснул, я успела уложить и завязать все вещи, потом одела Женю и в порядке, спокойно поджидала Петербург. Проливной дождь, ветер, папа болен, мама измучена, Паня (прислуга мамы) еще совсем маленькая, мне и Жене пришлось быть в одной комнате с папой, потому что другая комната столовая, и через нее проходят во вторую, конечно, было неспокойно.

Мама вряд ли сумеет жить со мной в деревне, да где еще та долгожданная дача, когда во дворе лежит снег, и люди ходят в шубах, галошах. — Но так мрачно было вчера, а сегодня опять стало просторно и спокойно. Урывками между изморозью и продолжительным, осенним дождем, завернув Женю по-зимнему, я гуляла с ним два раза в 10 утра и в 7 вечера. С 12 до 2-х искала коляску. А вечером догадалась, ссылаясь на то, что Женя мешает папе спать по утрам, а по вечерам заставляет рано ложиться, а папа любит сидеть по вечерам и разговаривать, переставить папину кровать в столовую (это не свинство, потому что кроме нас ведь никого в этих комнатах не бывает, а столовая светлее и теплее), и мы с Женей опять вдвоем, опять у нас тихо, диванчик, на котором он спит, смешно прирос к моей кровати. Уже поздно.

Да, вспомнила, мне говорили, что в Петербурге нетрудно в консульстве немецком получить разрешение об освобождении от залога, передай Шуру. Пока узнать об этом достоверно мне трудно, да я и не знаю, как это сделать. Говорил мне об этом сосед в вагоне, рассказывая, что его жена и дочь уезжают скоро в Берлин.

Всего, всего хорошего.

Женя

В деревню решила ехать с Феней⁶², может быть, это самое хорошее, потому что опять-таки будет тихо. Спокойной ночи.

В конверт вместе с маминым письмом была вложена нежная записка от бабушки Александры Николаевны:

Боринька родной, солнышко мое, большое спасибо за подарок, который ты мне преподнес, что ты доверил мне такую драгоценность, как сына. Ты мне осветил мой убогий уголок, где так мало света и радости, когда появилось в нем такое лицо, которое освещает как месяц, и глаза, как большие звезды, и по утрам чирикает, как пташечка при виде солнца, — так что мой дом засиял радостью и весельем.

Женюрка, конечно, худенькая, раздражительная, — сын совсем съел свою маму, но надеюсь, что она скоро поправится у меня, нянек много: Нюня и Феня, я и Паня. Скоро, вероятно, достанем дачу, дадим ей Феню и ей будет хорошо и спокойно.

Боринька родной, когда же ты приедешь ко мне, неужели ты целое лето не приедешь. Ты же у нас тоже сумеешь работать спокойно, и тебе тоже надо отдохнуть. Так что справляйся с делами и приезжай к нам. Я даже думала, что вы приедете вместе с Женичкой.

Будь здоров и спокоен, жду тебя к нам. Целую тебя и люблю.

Мама.

Александра Николаевна с первого знакомства со своим зятем испытывала к нему добрые дружеские чувства. Она называла его «Борку», не склоняя этого имени по падежам. Ольга Фрейденберг, которую Борис познакомил с Жениными родителями, вспоминала, что Александра Николаевна всегда пекла «разные сладости еврейские, продавала и покупала для «Борку» штаны и т. д. Очень любила его, а ему было тогда не ахти»⁶³.

13. V. Ленинград

Мне понравилось, я хочу теперь и дальше так — каждый день письмо — здорово. 11 и 12-го было жарко, Женя жарился и прел на солнце. Вчера ездила смотреть дачу, но полная неудача. Два часа езды, то есть 58 верст — сыро — сосновый и березовый кустарник, ягоды — клюква и брусника. Уехала в 4, вернулась в 11, устала. Сегодня холод, проливной дождь, 4 часа ходила по рынкам и магазинам, искала мальпост, только один понравился, 55 рублей, завтра буду опять искать. Продрогла, устала. Ну да, может, завтра будет удачнее.

Меню сегодня: утром горячие оладьи на кислом молоке, яйца, кофе, в два часа — рыба, картошка, яблочные оладьи, какао, обед — уха, котлеты с макаронами, кисель, ужина не дождусь, лягу сейчас спать. Теперь только 9 часов, но Женю уже уложила и сама завалюсь. Люльку продавай, попробуй попросить 2 червонца, если не даст, отдавай за полтора, деньги эти, если можно спрячь на ванночку или на сани и т. д. —

Если буду продолжать так писать, то скоро начну считать пуговицы: умный, дурак, умный, дурак, умный...

Ну так вот, задумалась я вчера: после приезда с дачи сказала я маме, что все-таки неосторожно было с ее стороны выписывать меня с Женей, когда она сама всецело занята папой, погода плохая и дача не приготовлена, и даже со мной жить не сумеет, но сказала я только потому, что под руку подвернулось, а сама знаю хорошо, что несмотря ни на что, вот именно так и должно быть, и это хорошо; даже видимая несуразность моего приезда в

⁶² Няня Евгении Пастернак, приехавшая из Могилева.

⁶³ Из письма О. М. Фрейденберг Л. О. Пастернаку от 1932 г. Hoover Institution Archive.

Петербург необходимость эту подчеркивает, потому что все причины, которые можно указать другим: помощь мамы, обилие дач и т. д. — отпадают, а необходимость остается. Думаю, что прежде всего мне нужно было расстаться с тобой и подальше уехать от Волхонки, а живя под Москвой, я постоянно бы туда возвращалась. Если не поймешь, переспроси, потому что даже перечитать не в состоянии и перо движется так, как идут часы — без точек, без запятых.

Спокойной ночи.

Женя.

Адрес: Ямская д.11 кв. 14.

Пришли с Хилей мой зонтик, здесь ни одного нет.

Первые письма в Ленинград папа писал по адресу Минцев на Троицкую улицу, тогда как мама жила у бабушки на Ямской, вблизи рынка. Этим объясняется некоторая добавочная почтовая задержка. Мамина сестра Гитта с братом к тому времени уже переехали в Москву, куда к ним по делам наведывался А. Б. Минц.

Мамино слабое здоровье требовало ежегодной летней поправки и регулярного усиленного питания. Ее отъезд был рассчитан в первую очередь на удивительные кулинарные способности бабушки, предлагавшей свою помощь. Поэтому мама подробно расписывает свое меню, вызывающее у нас теперь ностальгические воспоминания. Но удивительно, что и при таком режиме она никогда не полнела, что заставляло папу страдать, он видел в ее худобе не физическую конституцию, а свою вину.

<14–15–19 мая 1924. Москва>

Среда – четверг – понедельник

Милая белая девочка! Я сегодня взглянул на ту карточку, где ты с Бетти снята и не мог без улыбки глядеть на твой большой лоб. Чудное, достойное, непреднамеренно прекрасное лицо. Сбыточна ли твоя поправка, можно ли тебе будет отдохнуть и пополнить? Об этом я ничего не знаю. Говорил сегодня с Х. (у меня рука не подымается полностью писать это дикое, нечеловеческое имя, придет же фантазия так называться!) Он острит, говоря про тебя и мальчика, — это хорошо, что в природе остроумие не иссякает, но замечательно, как мало наблюдательны все ваши, кроме мамы, и как не успели они по моей сдержанности и подчеркнутой простоте во всех таких случаях угадать, насколько мне эта фамильярность не по душе. И сквозь этот специфический тон ничего я не узнал и не увидел о вас обоих.

Второе от тебя письмо получил. Это хорошо, что ты меню приводишь. Вот мне в этом отношении и легче стало на душе. А мама лучше тебя пишет, расцелуй ее за лирику. Говорю о квартире, об излишках и ненужностях. Неделью об этом не думал, забыл. Сейчас Василий Иванович костяшками пальцев постучал в дверь, и завел речь и напомнил, нехорошо, сухо. Я как с неба свалился. Увы, этими устами старости, боюсь не говорила бы ими сама грядущая действительность. И вновь оглянулся кругом. И струхнул. Это страх чуждого, ненужного. Страх полусмерти. А вот другой есть страх — бессонный, возвышающий, родной. О, Гулюшка, я все эти дни говорю с твоей душой или *со своей о твоей*. Какая неделя! Все знаю, все вижу, и от непрекращающегося *сопутствования* этих духов жизни душа гудит. А ты не захочешь, ты не уверуешь, ты возревнуешь и тогда — тогда что станет с белым моим миром

в двух лицах под одним именем? Что станет с Евгеникой⁶⁴. Но я про все тебе напишу, про всех размеров вещи, тут и маленькое велико и великое мало.

Во-первых. В Доме ученых редкостная столовая, с пальмами, с фонтаном, стеклянным потолком, сквозняками и бассейном. Ослепительные столики, на каждом по миске со звонкой свежей красной капустой. Обед из двух блюд стоит 45 коп. Я имею право брать сколько угодно талонов.

Раз повел Шуру с Ириной. Приходят с сумками и набирают по 4 по 5 обедов на дом. Вывод: в будущем году избавимся от кухни. Следовало раньше сделать. Думал о том, как свести все до одной комнаты так, чтобы ты могла работать. Вывод. Буду уходить в Университет или в Исторический музей и работать в библиотеках. Можно хоть целый день.

Получил от Цветаевой стихи. Ах какие стихи, Женя! Вильям, Дмитрий и др. без ума от них. Помнишь, как я тебе и Шуре “Версты” читал? Они изумительны, я их в “Современник” отдал, наверное Коля Вильям о ней статью в журнал даст. В четверг с утра прошел на слух Высокую Болезнь для вечера. Много оттуда выкинул и сжато сильно получилось. Вечер был назначен Колин (Асеева) и мой.

Вдруг среди дня мне представилось, что Коля не придет, и вечер тощ будет (рассказа я своего из редакции не мог получить⁶⁵). Тогда решил Колей заняться и на всякий случай наготове быть, чтобы самому его прочесть. Ах да, важное упущение. К вечеру еще вернусь, а теперь расскажу, что сказать забыл, – а важно. Во вторник вечером, после девочек Энгелей и предшествовавших им деловых посещений – странный, сияющий и почти нездоровый по своей светлой взволнованности пришел Коля (Асеев) с виновницей своей перемены. Она похожа на Бубчикову жену Фросю⁶⁶, ужасно хорошенькая то есть она того склада и разряда красоты, как ты. Почему-то они находили, что я их плохо принял и не был им рад. Это неправда. Это может быть оттого, что я с ними был прост, как с самим собою. И опять это оттого, что с Жоней, с Месхиевой⁶⁷, с тобой, с Фросей (ну, Фросю я тут, ты пойми, ради точности называю, то есть как один из образцов этого разряда сердечно и задушевно прекрасного, исправного облика) так вот, говорю я, в мире этих обликов я чувствую себя родным, товарищем, братом, мужем, тут слушаешь и ждешь, что скажут и слушаешься, тут нет охоты, тут не ловишь случай, нет грозы, нет судьбы, нет неволи. Тут царство доброй воли, широкой, прозрачной, тут нежность и благодарная забота и способность чувствовать за другого. Тут я выбрал тебя и стал жить семьей.

Теперь возвращаюсь к четвергу.

Уже приближалось время в Кубу идти на выступление. В тот день у нас бездействовал телефон и с нами не соединяли. Вдруг является Коля, в лице ни кровинки, и рассказывает, что с ним в одном учреждении днем случился сердечный припадок, он упал в беспамятстве на пол и очнулся в какой-то амбулатории, куда его из учреждения привезли. Я сейчас же его уложить хотел и разумеется и слышать не пожелал ничего о его выступлении, пообещав все собою покрыть. Он же все-таки мысли о вечере не бросал, хотя у него ничего с собою не было, а у меня все его книжки неизвестно кем растасканы, помнить же своего он ничего не помнил. И вот уже к 9-ти часам, когда начинать нужно было, попросили Дмитрия съездить к Брикам за книжками для Коли. Вечер хорошо прошел, хотя я его провел в полнейшей рассеянности, не помня себя, не видя публики и о своем голосе не думая, а все время неотступно следя за сидевшим рядом Колею, как бы что с ним не случилось. Ах, раскатился я тебе не это

⁶⁴ Евгеника – наука о наследственности: здесь метафора, объединяющая двух членов семьи “под одним именем” Евгению и Евгения.

⁶⁵ Речь идет о рассказе “Воздушные пути”, который Пастернак хотел прочесть на вечере.

⁶⁶ Иоанн (Иван) Эдуардович Саломон (1901–1937), заместитель директора Физико-химического института им. Карпова. Его жена Ефросинья Ивановна (Новикова; 1903–1971).

⁶⁷ Актриса Варвара Владимировна Алексиева-Месхиева (1875–1942).

рассказывать, а что-то другое, ну да теперь и для рассказывания оснований нет. Однако если когда-нибудь спросишь, при свидании расскажу. Ах как письмо залежалось! Это свинство, что пятый день оно лежит, ведь ты поди привыкла уже к частым письмам.

Женичка, я хорошо соскучился по тебе, но это ничего не значит. Надо нам обоим помолодеть. У Шуры с разрешением все устроилось (без залога поедет) и деньги ему переведут. Сегодня пишет Эренбург, что в “Беседе” (заграничный журнал Горького) рассказ пойдет мой (тот же, что и в Современнике, и с тем кончиком, который...)

Золотая моя, я пишу тебе черт знает как, то есть я дописываю давно написанное и нарочно сейчас, потому что ждет меня на бульваре Вильям, и собственно я должен был бы уже быть там. Таким образом я письмо сегодня же и сейчас отошлю и в переписке не станешь ты для меня Жоней, мамой, папой и теми, которым сердечнейшие письма в запечатанном виде годами лежат у меня на столе. Ну прощай и не обращай внимания на конец письма. Впрочем долг платежом красен; ведь и ты небось носом клевала, мне писавши, и конец твоего письма полон милых, кровно родных, хорошо знакомых зевков. Крепко тебя обнимаю, крепко, крепко, крепко, и по счастью для тебя, без последствий. Ах, скотская наша жизнь! Ну поцелуемся.

Твой Боря.

Упоминание в письме евгеники, науки о наследственной передаче умственных и физических качеств детям, возвращало к их с мамой давнему разговору, начатому еще у мамы на Рождественском бульваре, о чем она как-то вспоминала.

Рассказывая о совместном с Асеевым вечере чтения, состоявшемся 15 мая в КУБУ, папа перечислял нескольких красавиц, аналогичных по облику новой подруге Асеева. Среди них он назвал прелестную Фросю Новикову, жену своего бывшего ученика Ивана Эдуардовича Саломона (по-домашнему Бубчика), с которым лет 10–15 тому назад он занимался гимназическими предметами. В списке красавиц упомянута также актриса В. Алексиева-Месхиева, которая выступала с публичным чтением стихов Пастернака в Доме печати.

После маминого отъезда возобновилась остановленная на год переписка с Цветаевой. В ответ на его просьбу о новых стихах она переписала для папы большую подборку написанного после его отъезда и вдохновленного им под названием “Стихи к Вам” (общим счетом около 40 стихотворений, вошедших потом в книгу “После России”, 1928). Благодаря ее, он писал 14 июня 1924 года: “Постарайтесь с оказией прислать Психею, и все что издано у Вас после Ремесла. Очень нужно. Все присланное замечательно. Совершенно волшебен «Занавес». Спасибо”. И в том же письме он писал, что читал ее стихи на своем вечере в КУБУ: “Между прочим я Ваши тут читал. Цветаеву, Цветаеву, кричала аудитория, требуя продолженья. Часть Ваших стихов будет напечатана в журнале «Русский Современник». Туда же одно лицо давало хорошую статью о Вас (Вы этого человека не знаете, мальчик, воспитанник Брюсовского Института, исключенный за сословное происхождение, знающий, философски образованный, один из «испорченных» мною.) Они статьи не поняли и возвратили”.

Свое намерение передать присланные Цветаевой стихи в “Русский современник” отец вскоре выполнил, “Сахара” и “Занавес” были напечатаны в следующем после “Воздушных путей” № 3.

Сахара

Красавцы, не ездите!
Песками глуша
Пропавшего без вести

Не скажет душа.

Напрасные поиски,
Красавцы, не лгу!
Пропавший покоится
В надёжном гробу.

Стихами, как странами
Чудес и огня,
Стихами – как странами
Он въехал в меня:

Сухую, песчаную,
Без дна и без дня.
Стихами – как странами
Он канул в меня...

Занавес

Водопадами занавеса как пеной
– Хвоей – пламенем прошумя.
Нет у тайны у занавеса – от сцены:
(Сцена – ты, занавес – я).

Сновиденными зарослями (в высоком
Зале – оторопь разлилась)
Я скрываю героя в борьбе с Роком,
Место действия – и – час.

Водопадными радугами, обвалом
Шелка (вверился же! знал!)
Я тебя загораживаю от зала,
(Завораживаю – зал!)
.....

На́те! Рвите! Глядите! Течет, не так ли?
Заготавливайте чан!
Я державную рану отдам до капли!
(Зритель бел, занавес рдян).

И тогда, благодетельным покрывалом
Долу, знаменем прошумя.
Нет у тайны у занавеса – от зала.
(Зала – жизнь, занавес – я).

В конце письма речь идет об обрадовавшем отца известии, что его повесть “Воздушные пути”, подвергшаяся в “Русском современнике” цензуре, которая сняла заключитель-

ную сцену расстрела, будет напечатана в Берлинском журнале полностью. Из нежелания пускаться в известные им обоим подробности, мучительные для него, папа только мельком упоминает об этом. Через год после издания повести в книге прозы он откровенно писал об этом инциденте в письме к Цветаевой: “Последняя вещь в этом сборнике лишена конца. Это была краткая формула, выражавшая психологический тупик смертной казни, и цензура этот кусок запретила”. Этот эпизод стал первым для Пастернака столкновением с советской цензурой, когда он понял ее безапелляционную силу. Травля журнала и разгон редакции подкреплялись аргументами, выраженными, в частности, рецензией К. Розенталя в “Правде”, который так обобщал позицию журнала: “«Русский современник» не принял Октября. <...> Сегодняшний день не вызывает в нем ничего, кроме равнодушного и снисходительного презрения” (5 ноября 1924).

Издание журнала было прекращено, был арестован причастный к нему А. Н. Тихонов, что тяжело отразилось на Пастернаке и вызвало у него решительное намерение отказаться от литературных занятий. Целый год он не мог ничего писать.

“Пять месяцев я прохлопотал в совершенном забвении имен, соревнований, направлений, журнального разврата, журнальных обысков и доносов, которым стал подвергаться перед этим разрывом с литературой (что его и вызвало)”⁶⁸, – писал он Цветаевой в том же письме от 2 июля 1925 года.

Повесть не появилась и в “Беседе”, изъятая из журнала по настоянию Ходасевича, дезинформировавшего Горького о публикации повести в “ЛЕФе”. Но одновременно с закрытием “Русского современника” прекратилось издание “Беседы”. Полный текст повести остался неизвестен.

17. V. <1924> Ленинград

Холодно, зимний день, дождь, темно, болит животик. Неужели в Москве солнышко. Ты верно получил мои два письма и не потому ли замолчал?

Когда же Женя нагуляется вволю.

Вчера был сильный ветер, и он уже сегодня немного сипит. Теперь спит, большой, спокойный. Купила мальпост хороший.

<Дан рисунок коляски>

Сшила рубаху, фасон: <Дан рисунок распашонки>

Видимо, я то ною, то дурачусь. Но что же делать, когда толстого (твое обозначение большого), эпического нет, и сил и настоящей предприимчивости пока нет, а есть только энергия, основанная на нервах. Ну да ладно, завтра будет солнце. Бр... бр... бр... как мне надоел дождь, но все-таки будет болеть спина и животик, и я не смогу поехать в Мариенград, около Гатчины искать комнату, но что если Ленинград докажет, что он стоит на болоте, бедный Женя, бедная дырочка на его головке, через неделю ему 8 месяцев, а у него ни одного зуба, и он еще не сидит сам. Смотри, смотри, Боря, не трать дней, их в трех месяцах только 90, если у тебя всякие квартирные дела, то установи для них время, скажем, с 10 до 2–3, а дальше запирайся и гони всех вон, потому что, если будут продолжаться здесь дожди, а в Москве хорошая погода, я, захватив мальпост и Феню, продав медаль, могу устремиться под Москву, и только твоя действительная работа и нежелание ее прервать сделают меня терпеливее.

⁶⁸ ПСС. Т. 7. С. 565.

Хотя мне лично пока легче и беззаботнее, но Женя должен за лето надышаться вволю и поздороветь, а пока здесь дождь, ветер со всех сторон и в районе, где мы живем, ни одного кустика, обилие торговцев и рыба, рыба на каждом шагу и ниоткуда не тянет теплым, весенним.

Всего хорошего.

Пиши.

Покупка закрытой коляски, или мальпоста, как ее тогда называли, была делом перво-степенной важности. Мама ее нашла по объявлению, почти совсем новую. Это была красивая открытая, на мягких рессорах коляска, в которой я спал некоторое время, пока не начал вставать. Я ее хорошо помню, она складывалась для сидячего положения и раскладывалась для лежачего. Она вскоре сломалась при переезде на дачу, но тем не менее еще долго служила мне для сна и прогулок, а потом была передана Чернякам для их младшего сына Бори. Мама нарисовала ее в письме к папе в двух видах – также, как фасон распашонки, которую мне сшила.

21. V. Ленинград

Боря, что же ты мне не пишешь, или адрес я неправильно написала: Ямская д. 11, кв. 14.

Женичка три дня болел, сегодня будет врач. Баландер⁶⁹ велел кормить его обедом, но не сказал мне, как его постепенно к обеду приучать, я вероятно, дала ему сразу слишком много, вот его и несет, третьего дня раз 8, вчера 4, а сегодня тоже желудок зеленый, скверный. Боричка, позвони Абраму Осиповичу и спроси, сколько Женичка весил в последний раз, ему было тогда ровно 6 месяцев, и у Абрама Осиповича наверно записано, кажется мне, что 22 1/2, а сегодня я взвешивала, он весит 22 3/4, то есть за 2 месяца 1/4 фунта, но это кажется ему не вредно.

Холодно в Петербурге, ветер, и оттого, главным образом, скверно.

Уже неделя, как ты читал в Академии, почему не написал? “Русский современник” пока не купила, ты знаешь, как трудно мне выбраться из дому, когда Женя болен, и раскачаться написать.

Всего хорошего.

Женя.

Избавился ли ты наконец от няни, где обедаешь и т. д.

Как живет Шура. Кланяйся Ирине и ему сердечно.

Пиши.

<20–21 мая 1924.Москва>

Дорогая Гулюшка.

У нас стоят холода, у меня кончились деньги. Шура приступил к добыванию паспорта, время идет, и один я бездарен. Что у тебя слышно? Я боюсь ты вспыхнешь и рассердишься, но бывают же чудеса: удастся ли тебе рисовать временами? Пофилософствуй чуть-чуть со мной. Я сквозь твои мысли положение вещей лучше увижу, нежели в прямом изображении. Я очень хочу, чтобы ты работала, без искусства тебе не жизнь, и ты меня понимать бы перестала. Говорю так прямо и неделикатно как раз потому, что работать ты будешь. Нам

⁶⁹ Абрам Осипович Баландер, детский врач, женатый на племяннице Р. И. Пастернак Розе Метельниковой.

надо будет это иначе, не по-мещански устроить, не так, как представляла ты себе (две прислуги). Опереться надо будет на организацию, на Кубу. Потом не мешало бы тебе на короткое время мгновенно и сильно, но только пожалуйста в идее, в какого-нибудь мальчика влюбиться вроде тех, которых столько у тебя было в прошлом. А то ведь до сих пор не знаешь ты, что у меня с тобой, зачем я тебе нужен, и что ты составляешь для меня. Удивительное дело, я мог бы тебе всего этого не говорить, тем более, что фактов никаких нет, но меня так печалит туман, временами похожий на полусмерть, которым ты, неуступчивая и вспылчивая, по моей уступчивости у меня дышать научилась, что я и о возможностях фактов готов говорить как о свершившемся.

Как рассказать мне тебе, что моя дружба с Цветаевой один мир, большой и необходимый, моя жизнь с тобой другой еще больший и необходимый уже только по величине своей, и я бы просто даже не поставил их рядом, если бы не третий, по близости которого у них появляется одно сходное качество — я говорю об этих мирах во мне самом и о том, что с ними во мне делается. Друг друга этим двум мирам содрогаться не приходится, но им часто, если не ежедневно приходится вздрагивать от десятка виденных женских лиц, от *безразличия именно* красоты, от ее повседневности, рассеянности и бесконечности. То что у нас иногда бывало, тому не пример. Смешны были те лица, которые тебе известны, и может быть нарочито смехотворны. Может быть с бессознательным умыслом я позволял этой третьей стихии грозиться только столь игрушечными средствами, чтобы не причинять тебе боли в себе самом, чтобы роскошью и прихотью являлись те размолвки, на месте которых был бы естественен только смех, заразительный, детский, как на комедии. Но ведь не всегда так будет. В верхнем этаже номеров за окном каждое утро умывается невозможная красавица, я на нее не гляжу, но не видеть ее нельзя, солнце разыскивает ее первую и бьет прямо в нее, она вся крупная, золотисто-темная, и все это о себе знает и это знание заставляет вольно и ровно смеяться всю ее. Я ее не знаю и у нее не был, ничего еще нет и не будет. Но и дальше говорить мне ничего не хочется. Я вдруг перехватил твой взгляд, давний и знакомый, страдающий в гораздо слабойшей мере, нежели просто преступный и убийственный по отношению ко мне. Ты чудная Женя, такая одухотворенная и белая по существу и замыслу творца, и у него мною добытая, я так бы преданно и просто мог бы любить тебя и люблю, но ты со мной, в моих руках такая самолюбивая, узкогрудая, такая корыстная, такая чужая, такая ненавидящая. И как ты распорядилась мной! Как оскорбительно легко, без пользы для себя. Зачем, Зачем?

Среда

Когда я вчера кончал письмо тебе, Гулюшка, то последние слова прямо со страстью вырвались у меня к тебе, моя тихая без-без-без-без-брежная прелесть.

О радость моя, чего тебе стоит быть такой, какой ты рождена. Милое мое туманящее, колеблющее и к горлу подступающее сокровище, ведь это ты можешь быть и должна быть вечною моей умывающейся красавицей, белой, ясной, большелобой, той от которой я не отступил в стихи. Той, чудная калевушка⁷⁰ моя, какая ты есть, какая в Женины глаза вложена, какая в гробу будет и в моем загробном воображении. Стань такой, умоляю тебя. Будь собой, не останавливайся в душевном росте, не связывай колебаний, присущих тебе как звуку из звуков и волне среди волн, с тем, что ты среди людей составляешь, и что между ними и тобою делается. Вернись, давай будем враждовать, давай будем беспощадны друг к другу — но без барабанной дроби и разговоров. Давай будем мгновенны, что хочешь, но будем опять собою. Давай будем знать, кто мы такие. О, это надо знать, Гулюшка, и ты это знаешь меньше, чем я.

⁷⁰ Калева, калевочка — крошка, пылинка.

Я получил письмо твое с рисунками, милая. Не жалею мальчиковой дырочки. Бог даст все хорошо будет, живи в Петербурге и о приезде сюда не думай. Так надо. Пишу, а за окном какая-то вьюга водяная, дождь со страшным ветром, холодно и у нас. Что с того, детка, что я еще ничего не написал. У меня только еще глаза раскрываются и уши для дела. О чем твержу я тебе все это время. Чтоб не верна была ты мне, а верила в меня и мне верила. Это одухотворяет, а первое мертвит. А ты от меня требуешь обратного. Начал я это письмо тебе почти что плача. Да ведь и доведет до слез ужасное сознание того, что в твоём лице дано мне, и что ты с лицом и дареньем делаешь. Точно вас две. Разве неправда?

Утро. 5 градусов по Реомюру. Следовательно, у вас снег. Хорошенькая погодка. Женичка, подкинь мальчика Александре Николаевне или Оле Фрейденберг, но чтоб не знали, что наш, затем разведись со мной по всем статьям и правилам, и потом скорей, скорей приезжай ко мне, я люблю тебя, и нельзя иначе, ты из этого сделана, да будут на веки вечные прокляты дураки, которые кругом, и это сделали, – детка, мы переживаем социальную драму. Или вдохновись, напитайся в одиночестве музыкой, греческой прелестью и внимательно-стью христианства и тогда приезжай с мальчиком осенью, но обязательно в сиянии выше-описанного мира, непременно в нем, я волосы осмотрю!

Прощай, подруга.

Твой Б.

В отцовских письмах к маме постоянно возникает и переходит из одного в другое тема чувственного искушения, на преодолении которого строилось его отношение к женщине. С особенной силой эта нота начинает звучать в разлуке, в одиночестве лета в городе. Женская красота легко воспламеняла его лирическую натуру, на чем неизменно основывались все его дружбы с женщинами в жизни и в переписке.

“Я завидую людям, которые родились с готовым различеньем чувств или успели в них разобраться. Я – не то что дружбы, я *вниманья* без примеси любви никогда не переживал”, – писал он Р. Н. Ломоносовой⁷¹.

Он был воспитан, как сам говорил потом, на крепком нравственном тормозе, но даже его открытое восхищение женской красотой и поклонение ей неизменно доставляли маме огорчения и вызвали ревность. Вероятно, откровенность, с которой папа делился с ней своими впечатлениями, только увеличивала болезненность их отношений. Он искал у нее сочувствия и понимания художника, но получал в ответ “барабанную дробь” обидных разговоров. В его письмах лета 1926 года к Цветаевой есть удивительные слова о душевной борьбе с соблазном, на “стонущих дугах” которой строит человечество рыцарское, “благо-родство духа”. Удивительным образом подобный подход оказался непонятным также и Цветаевой и больно ее задел, она считала, что надо пользоваться случаем и “срывать сердце”, не смущаясь женой и сыном.

22. V.24. <Москва>

Гулюшка детка, жена моя! Сейчас принес от китайцев белье, а когда поверял и откладывал в шкаф, твои рубашечки спрыгнули и затоптали босыми ножками по полу и защебетали, слушать, просто сердце из груди рвалось. Потом они успокоились и теперь лежат в шкапу и не слышно их. Тихие и беленькие ждут, до осени их не тронут. А теперь ужас, ужас и ужас. Приготовься и вынь платок. Вот большое Жонино письмо, которое сегодня получено.

Переписываю его дословно.

⁷¹ Раиса Николаевна Ломоносова (1888–1973), корреспондентка Пастернака. Из письма от 23 мая 1931 г. (Минувшее. Исторический альманах. № 16. С. 177.)

«Нет! Теперь уж я больше не могу – теперь я напишу обо всем, что так горько и страшно. Потому что и твое письмо, после Женина и Шурина контроля – про Пахулика, про все лавки по Ленивке – крайняя-крайняя печаль – да ты вот пишешь маме и папе про «Семейное счастье» Толстого – а знаешь, когда я читала его – давно – как я почувствовала – ах это такое содрогание! – про Пахулика и Ленивку – как «описываешь». Да – это так просто. *От жизни ждут невероятного – и только разочаровываются.* Это описывают романисты – это в русской литературе особенно – но так как это болело-болело – не в мочь было – художественно – то это получилось прямо как направление в литературе – и уж не трогало – мы смеялись над этим – и над ядром этих произведений «лишним человеком» – а вот в том романе Толстого это-то, именно это не выявлено – а это мастерски художественно написано – и оттого это-то в этом произведении своим невидимым наличием приводило в содрогание: лишний. Но это между прочим потому, что ты сам упомянул об этом и этим сравнением ударил меня по ране, по больному месту, потому что я сама видела и знала – да вот теперь пришло это – ну просто: так ясно чувствуешь это про «лишних людей» – эту тему, на тему эту в гимназии мной сочиненья писались, насмешливые, логические – критикующие анти-художественность тех литературных произведений, где эта марка.

Еще вот. Есть люди, которые несчастны в жизни – просто так вот. Иногда или часто – но это не определяет их сущности. Для меня же это – мое прозвище – мое имя – первое мое прилагательное – не знаю получили ли Вы мое письмо с *Semmering'a*⁷² – думаю нет. Я писала его, не зная о Вашем письме в Берлин – конечно мне показали его, когда я приехала в Берлин, потому что родители уже несколько лучше знают меня, чем Вы меня знаете. И они знают, что скрывать от меня что-либо было бы смешно.

Родные мои! Когда-нибудь – когда мы увидимся – Лида расскажет Вам, что я говорила про Женю и Борю. Я однажды произнесла буквально следующие слова: «Лида, ты чувствуешь, Женя и Боря – единственные – заступились бы за меня, если б были здесь». – И Лида ответила: «Да». – Дорогие, заступаться за меня было нечего – Вы пони маете – слово смешное, и сказано было в отчаянии. Никто не принуждал меня – но все это сложно – не замужество это – а все, что ему предшествовало – и не предшествовавшее ему в моих отношениях с Федей – нет – а предшествовавшая началу этого отношения Федина ко мне *моя жизнь*, я сама, все мое прилагательное, мой эпитет, кличка моя: меченая, обреченная, несчастная. Я пишу это все как о другом человеке *та* меня даже как-то не интересует больше – как она *раньше* – до *этого* смешного фактеца – моего выхода замуж – не интересовала никого – ни вас, например – тогда же – *та* была я – и – да. Теперь я так привыкла и к ощущенью, господствующему в этом романе Толстого, и к ощущенью приговоренных к смертной казни людей, что меня интересует только вопрос – так, из любопытства, из физического страха ее – ну – как переходят к загробной жизни? А не гастон⁷³ и не десятилетье заполняющее время от последнего дня в апреле 1914 года по сегодняшнее 1 мая – я пишу это – я не могу писать – меня душат рыдания. Ты пишешь: рояль, цветы, тишина – все это – когда: дети, семья – но у меня не могут быть дети – это было бы преступление, грех – ведь это были бы уроды – во мне нет сил для ребенка – ведь во мне только либо горечь, либо смирение – которому не нужно это.

Я пишу все это Вам потому, что ты написал непередаваемо грустное письмо *после контроля* Жени и Шуры, в котором ты не жалуешься, *не пишешь про себя*, письмо, «которое они пропустят» – как ты пишешь – письмо ужасней всех трагических писем – и оттого – больному пишет больной. Больные не смеются над чужими болезнями и уродством – с тех пор как я помню себя – с 1913 года я больная – знала, что здоровые будут смеяться надо

⁷² Земмеринг находится недалеко от Вены, где жили сестры Федора Пастернака.

⁷³ Это на рождение всякого из семьи Федя такой торт приносил. Боря. – Примечание Б. Пастернака.

мною и всегда молчала – и я Вам никогда не писала о себе поэтому – не писала поэтому и о готовившейся свадьбе, – как я могла писать Вам? – писать следующее: в 13 лет я так любила, что во мне сгорело сердце – его просто не стало – сначала оно жило надеждой – потом в агонии – самоубийство не совершилось из-за религиозных убеждений и из-за родителей. Знаете, как говорят: не поднялась рука? Все это длилось не месяцы, не год – десятилетие. У меня было влечение к искусству – я подавляла его в себе (иногда теперь на стену лезу от – творческого бессилия – или реву от какого-нибудь сочетанья цветов, которое – нужно – нужно – передать – сохранить – зачем? Это – пытка и это начало искусства). – Я все подавляла в себе, воспитывая в себе строгую аскетическую религиозность – я хотела поста – отказа от всего – чтоб все затем сконцентрировать в любви – все существо – все умение – все данные жизни. Так я ждала – была война – она еще углубляла меня в моем одиночестве, отказе, аскетизме – мне было 14 лет. С тех пор я не знала светлого дня. Ты пишешь: десятилетье – и все...

Да, было десятилетье, но знаешь ли ты, что для меня оно было рядом разнообразных – разнородных мучений, варьяций боли – разновидности – роды, типы – отчаянья, страданий, пытки. Никто не знал об этом. В течение многих лет я боялась произнести имя любимого – чтобы не осквернить его – постепенно же я все больше от темы личной, от любви и себя переходила к философии, религии, христианству – еще крепче стал запрет искусства и творчества – взрывы себя, взрывы желанья проходили внутри – ничто снаружи не выдавало их. Вы все меня считали иной. Ведь я и точно природой задумана иначе. Ведь природа не виновата, что была Столбовая⁷⁴ и 1913 год. Я казалась веселой и ребячливой? Это мускулы лица, рта, руки – повадки – а в душе пропасть – а сердце не сердце – грудa пепла – и от каждого движенья – от каждого движенья внешнего мира, которое касалось сердца, – пепел этот давил – давил – холодной и страшной тяжестью – и во всем одно спасенье – один свет – вера в Бога – так я жила 2 и 4 года и 5 лет и десять. И всякий мой шаг, мой поступок – в связи с одной был надеждой (потом уже когда надежда и концентрация любви прошла) – с мечтой жить по воле Божьей – говорить о Нем – стать проповедницей учения Христа. Я еще старалась узнать лучшее от мира – философию – я читала и училась – это все только потому, что мне казалось – это нужно – без этого – меня высмеют.

– Но между тем я жива была и грубо, просто – физиология. Я думаю, она виновата в том, что я – вышла замуж. Просто уж не в силах больше была жить без этого – все так элементарно – насколько сложно было до сих пор и беспримерно страшна по агонии моя жизнь до сих пор – настолько внешен, пустяшен, незначителен факт моего замужества. Конечно человек, который бывает почти ежедневно в доме и гладит по голове ласково и как старший и спокойный, человек этот всего больше может рассчитывать на то, что к нему потянешься. Любить я не могу больше никого, и это все равно что сказать, что человек без ног, севший на велосипед и упавший – лучше поедет вот на таком-то велосипеде – а тот мол был просто неважный – наконец – человек этот неопытен – он еще, может быть, научится.

Не Федя виноват в том, что я не влюблена в него – а просто мне это уже невозможно, как человеку без ног поехать на велосипеде – хоть бы ему предоставили первоклассный. Ну вот – когда прошлой весной он мне впервые предложил это – я говорила с ним серьезно – я отказалась – и все последующие разы, когда он говорил об этом и просил – я наотрез отказывалась. Но тогда как человек чужой в таком случае – отдалается – он, в силу обстоятельств – оставался в доме – и конечно, становился все ближе и необходимее.

Все решил – и закончил незначительный случай – его отъезд в Мюнхен – ах скучно и долго писать – но когда-нибудь расскажу – это очень, очень интересно в психологическом отношении и для характеристики некоторых лиц. Для меня этот отъезд был ужасен – стано-

⁷⁴ Название дачи. – Примечание Б. Пастернака.

вилось *пусто* и страшно, что будут *воспоминанья* – я боюсь их, как больной боится рецидива болезни. Отъезд этот – должен был всколыхнуть десятилетие – воспоминанья – но мои отношения с Федей были вроде оттягивающего пластыря – когда он снимается преждевременно – он отдерет кусочек мяса – это было страшно – я стала опять собой – и думать о монашестве – я решила больше никого не подпускать к себе близко – чтобы потом, как пластырь – не сдиралось преждевременно – я была в *меланхолии* – как несколько истерические и смешные люди. Люди страшно не чутки – они подумали, что я люблю Ф. – *мне не хотелось* выходить замуж – но опять тут нужны подробности – тут совпадает неприятность в Университете – мамочка – вообще всякие ингредиенты.

Теперь я живу в Мюнхене и его жена. Какой он милый и добрый, Вы знаете. Но к тому же не чуткий, – поэтому моя душа свободна – так как он мной не интересуется и мне не мешает. Но зачем ей свобода, когда она не жизнеспособна – когда убита, убиваемая была – постепенно добита – прикончена в своей смерти. Когда я – настолько себе уже неинтересна – что мне не хочется дивана, чистоты и детей? Когда я до того изуродована своим молчавшим в течение десятилетия несчастьем – что детей иметь мне – преступление? Когда все на свете – и возможности и невероятности – искусство, науку и философию – когда все это покрыло приводящее в содроганье ощущение из романа Толстого «Семейное счастье»? Но солнце и лезущие в окно почки деревьев и запахи приводят меня в трепет – это лучшее и единственное – я радуюсь этому, как старуха. Но у старухи была жизнь – у меня ее не было, – вместо нее было умирание – после года любви такой, – о какой разве читаешь в Песне Песней.

Но все равно – никогда бы не написала я Вам этого – если б не последнее Борино письмо в Пасхальную ночь – и если б не Женино – *которое я нашла в Берлине*. Я думаю, во многом виновато мое происхождение – то, что я русская. Русская двойственность – неустойчивость ее: одна нога на западе – другая на востоке. Рождается на Востоке – в вечности и философии – стремится на запад – в деятельность и жизнь – но не может – но разочаровывается – но... лишние люди – и возвращается на Восток – в успокоенье – в конец, в покорность – в религию. Простите за это ужасное письмо. – Вот написала и чувствую – как многое не сказано – и что сказано – сказано неудачно. Но все равно. Еще у меня к вам просьба – покажите это письмо Боброву – я не писала ему ни о своем замужестве – ни о себе – так же, как и вам – потому что и он бы не понял меня – как здоровый больного – и он меня высмеивал – в моем уродстве: и его бы раздражало все это – как нытье. И не нужно было поэтому ни вам, ни ему писать об этом. Я хочу чтоб он прочел это, потому что он мне близок, не знаю почему. Простите, мои родные.

Шурочка, Женичка и Боря – Господь с Вами. Женичка, никогда в жизни не забуду я, *как ты прореагировала на случившееся* – никогда не забуду – но ведь я это предчувствовала или вернее чувствовала – я знала, что ты меня любишь, как я тебя.

Вся ваша Жоня”

Читай дальше. Лидина приписка. “Дорогие мои! Это письмо Жоня послала вам через меня, адресовав мне в лабораторию, чтобы оно не читалось дома. Пожалуйста, не пишите о нем нашим – не к чему. Ее сопроводительное письмо ко мне также вам шлю, чтоб вы не думали, что она не бывает веселой.

Ваша Лидя”.

Но странно, моя печаль от этого “веселого” письма только еще усугубилась. Сама посуди, Гулюшка. Вот выдержки из него.

“Мюнхен 14 мая. Лидок, родной! Только если ты решишь отослать, только с твоего согласия – отошли это письмо. Мне не видно, но, кажется, оно ужасно глупо написано. Ты припиши, что «по полученным сведениям», то есть попросту мол я тебе писала – что настроенье у меня опять прекрасное, чтоб они не огорчались. И ты тоже – потому что солнце, небо,

деревья, погода и запах – непередаваемы, нет слов. Я сегодня с утра пишу, как машина – просто рука устала! И хочется выйти на воздух – вот кончу тебе и пойду, мое счастье. – Что ты мое счастье, ты знаешь... —

Закроют лавки. Надо бежать за салатом. Сегодня к ужину холодный рис, оставшийся от обеда – с вишневым вареньем (в мармеладовой, знаешь, такой баночке, словом, не я его варила). Мне очень выгодно, что Федя любит такую дрянь – во-первых, мне не нужно доедать, во-вторых, ему кажется, что это «очень вкусно», а в-третьих – мне сегодня не нужно готовить особенного к ужину...”

Ну что ты скажешь на все это? Мне несказанно больно за Жонечку, но и Федю мне страшно жалко. Ты подумай, все это происходит на второй месяц этой благословенной стариками абракадабры, он сидит в банке или вернее мечется по нем, а тем временем она пишет это письмо (!) – и ждет его (!!) – но ведь и этот человек, милый и чудесный – он тоже этой каторги не заслужил. Как это у них все происходит.

Как чудовищно. Как фатальна была эта скрытность у нее! Да ведь проговорись она, у меня нашлась бы сотня советов ей и внушений, а у тебя тысяча, вместо этого одного, завершенного всеми этими... носителями цилиндров. Гулюшка, Гулюшка, ну что ты скажешь. Ты напишешь ей? Она тебя так любит, ты видишь. Временами письмо прямо отталкивало меня – что-то есть в нем нехорошее – временами же, то есть по преимуществу прямо – ну да, я плакал, как ты в тот день. Особенно эти черты (тире) у нее между фраз. Точно она вздыхает. Если будешь писать, не забывай о Феде. Чем он виноват? Боброву читать не хочу. А? Как ты думаешь? Читать? Нет, конечно?

Крепко тебя целую. Прямо мне стыдно нежности тебе сейчас говорить, точно я меряюсь с этим несчастьем, в богатстве своей жизни.

Итак, до свидания. У нас морозы стоят. Воображаю, что у вас делается.

Переписывая письмо своей сестры Жозефины (с припиской Лиды) о ее недавнем замужестве, отец хотел поделиться с мамой беспокойством за ее судьбу. Узнав о предполагаемой свадьбе заранее, они с мамой написали протестующее письмо, не в силах поверить в любовь Жозефины к Федору Пастернаку, ее троюродному брату, который был старше ее на 20 лет и в качестве директора в совете Баварского объединенного банка был распорядителем всех денежных средств ее родителей.

Это письмо не сохранилось в архиве у Жозефины. Она отвечала им, рассказывая о своей детской любви к двадцативосьмилетнему Николаю Владимировичу Скрябину⁷⁵, двоюродному брату композитора, который жил вместе со своей матерью на даче в Молодах в 1913 году.

Вспоминая те далекие времена, она называет также имя Пахулика, столяра-чеха, жившего на Ленивке трогательного человека, который делал подрамки для картин Леонида Осиповича.

Вопреки мрачным предчувствиям, усугубленным этим письмом, Жозефина счастливо прожила с мужем более 50 лет, у них было двое прекрасных детей. Это долголетнее благополучие было плодом любви, верности и неустанных трудов Федора Карловича.

⁷⁵ Сын генерала, учился в кадетском корпусе, но, отказавшись от военной службы, вошел в состав Малого театра в 1915 году, где состоял до 1922-го, после чего эмигрировал. О своей влюбленности Ж. Л. Пастернак написала в книге “Хождение по канату”. Там же подробно рассказано и о ее замужестве.

<24 мая 1924. Москва>

Дорогой Женёк!

Ах как это скверно, что мальчик болен. Этот рахит еще более чем огорчает, еще и *оскорбляет* как-то и обижает меня и тебя (во мне). Ты менее щепетильно и мелочно что ли к нему отнесись, то есть веселее, беспорядочней и хладнокровней. А то я боюсь, что бережно леча маленький рахит в слабой форме, мы придем к большому в сильной, а бережно пользуя от этого, подыдемся ступенью дальше. Лечить его ты должна своей молодостью и красотой и их в себе поддерживать, то есть в настроении, в беспечности и уверенности. Ты должна нравиться его судьбе и воздуху, которым он дышит, то есть природе и тогда они будут считаться с тобой.

Горячо обнимаю.

Боря

<25–26 мая 1924. Москва>

Дорогая Женюра, ради Бога не придавай значенья иным моим быстрым словам. Я знаю, бывает только шевельнется чувство или мысль, тут же и брякнешь и часто черт знает что. И ничего кроме огорченья ни для кого не получается. Идиотские мои слова насчет рахита, прорвавшиеся прямо над твоим письмом (я только получил его и читал) удивляли и пугали меня уже через минуту после их написания. Я весь день думал о маленьком страдальце. Я наводил справки, не у докторов, а у матерей. Я так себе дело представляю.

Было ошибкой, когда ты боялась простудить его зимой, переноса в Шурину комнату, и не переносила и не проветривала спальни. Воздух в ней был всю зиму, как в теплице, – неподвижный, рыхло-сухой, и пеленки сушились. Этим он дышал и не умер, и вот он уже у начала большого и тоже не смертельного пути, где добываются непропорционально большие головы, кривые спины, искривленные ноги. Напрасно мы пугались его простуд, если они и грозили смертельностью крошке (не думаю), то во всяком случае не несчастным пониженным прозябаньем средней руки. А ничего нет хуже этого. Надо сказать прямо – эту зиму рахитом страдала ты – рахитом сердца – да и я конечно. И все это было отвратительно.

Спешу утешить тебя, рахит в форме настоящей английской болезни был у Ирины Николаевны, – правда страшных усилий и нескончаемой возни стоило родителям ее вылечить. В легкой форме был рахит и у Глебушки Столярова⁷⁶. Она вот от чего предостерегает. Ни в коем случае не сажать и не ставить до того, как самостоятельно не сядет в кроватке и не пойдет. Не способствовать пробуждению этих способностей и не ускорять их появления. Это может повести к кривизне. Все время держать на воздухе (причем открытые окна или даже терраса не годятся, тут нужно движение воздуха, но не на солнце). Это все говорят. Но ты вот пишешь, что холодно, и, вспоминая, как с погодой считалась. Вероятно надо быть смелее, и я бы тебе советовал в любую погоду, то есть уверуй в воздух, как в бога, доверь ему ребенка, и если он его убьет, что воздух лучше знает, что надо, лучше смерть, но не рахит. Гулюшка, теперь я не на ветер говорю и глубоко чувствую каждое слово. Ты не пугайся их и не сердись. Потом о питании. Да, и значит о воздухе: целый день пусть лежит, пускай это законом для тебя будет, порасспроси насчет нянь, возьми себе, чтобы всегда при нем была; Паня и Феня верно не годятся, потому что они через тебя о нем заботиться будут, а это средство уже вредное: ты ни о ком заботиться с чутьем неспособна, потому что лишена даже простой

⁷⁶ Маленький сын Михаила Павловича Столярова.

здоровой заботы о себе, то есть ты жизнь за кого-нибудь положишь, но без проку для кого бы то ни было, если не в ущерб. Мне приходится это прямо говорить, потому что все-таки мальчик и мой тоже и ведь я люблю его и жалко мне.

Ах Женичка.

Потом о питании. Говорят, овощи надо и бульоны, а зимою рыбий жир с фосфором. Но опять не врачи. Баландера я спрошу и всего бы лучше, если бы ты написала, что Абрамович посоветовал и предписал, а Баландер бы мне по этому сказал, что это у него, в каком градусе и как ему советы твоего врача нравятся. Однако главное (если в твоих это силах), выдели из советов чрезвычайное, существеннейшее от попутного и бей по первой точке неотступно и беспрестанно. И не бойся, главное, решительности в его судьбе. Правда, ведь это лучше одной только скупой и скудной сохранности.

Оставанье на земле само по себе никакой радости не составляет.

Ах, Гулюшка, пишу тебе и все время думаю: ведь это собственные её слова, столько раз мною слышанные. Как я увлечен теперь тем током в себе и кругом себя, который при проверке оказывается тем ритмом, который не только тебя сложил, но еще и в размолвках нынешней зимы просыпался в тебе и свое достоинство от рахитов отстаивал.

Женичка моя, нежная, нежная девочка, и моя прелесть, как привык я отстранять эти простые приливы умиленного восхищения тобой, оттого верно, что они к добру не приводили и восставали в твоём лице на весь мой склад души, на образ мыслей моих. И теперь, когда одного представления живого о тебе достаточно, чтобы я всем существом заволновался, я гоню от себя это волнение, тогда как на нем одном, на подобных-то только состояниях и держались все эти влюбленья мои и теперь, дай я этим постоянным, готовым ежеминутно объявиться налетам, свободу и власть над собой – да мы б роман имели неслыханный, чудная моя, изумительная Изольда! Милая моя прелесть, как я боюсь, что ты уже успела мне ответить на одно из этих ежедневных за последнее время писем, начавшихся после перерыва. Как я боюсь, что ответила уже и что твой ответ меня огорчит. Не огорчай меня, не надо, прошу тебя. Думала ли ты обо мне и помнишь ли ты меня?

Понедельник утро.

Боже мой, я вижу капочку как везли его на вокзал в трамвае, когда он потолок разглядывал! Что за сокровище! Дурацкое чудное мурло! И неужели не будет он здоровым, удачным ребенком! Женичка, напиши мне подробно, что доктор приказал. Я уже говорил тебе, зачем мне это надо. Теперь еще вот что. После этого письма я с неделю тебе писать не буду, то есть ты писем не жди и не удивляйся, если их не будет. А это нужно так. А то пишу все то же и, так как несмотря на всю бедность писем содержанием, я все-таки немного волнуюсь за ними, то это отражается на всем дне, и иногда я опять становлюсь мнительным и опасливым под влиянием написанного письма.

Скажи мне слово ласковое, милая моя Женюра.

Твой Боря.

Это продолжение разговора о рахите – ответ на несохранившееся мамино письмо, где она писала о посещении врача. Несмотря на то, что рахитом болело большинство детей, мама со свойственным ей нетерпением желала скорейших результатов преодоления недуга и с первых же писем заражала своим беспокойством отца. Его воображение со своей стороны рисовало катастрофические картины моей будущей неполноценности. Вообще надо сказать, что обостренная впечатлительность была равно свойственна им обоим, что, конечно, роднило и сближало их, но и мешало спокойно переносить неизбежные тяготы.

Здесь затрагивается также папино желание дать мне такой же режим закаливания, какой он получил сам, с детства приученный к обливанью холодной водой. Позднее он писал

в письмах родителям, как ссорился с Женей по поводу того изнеженного воспитания, которое она мне давала, и как жестоко обрывал подобные поползновения у своей второй жены по отношению к младшему сыну Лёнечке.

<26 мая 1924. Ленинград>

Получила твои три письма сразу. Женя – вот моя реальность. Дорогое, любимое, теплое существо. Теперь все еще больное (животик и хрипит). И не по душе пришлось мне твоя шутка о подкидывании. Не радость принесли мне твои письма, целый день навертывались слезы, а ночь не спала, но разбирать – почему да как – не выйдет. Верить тебе не могу, ты два года периодами говоришь обещающие хорошие слова, но никогда мне не было так трудно, безотрадно и мучительно жить, как с тобой, я не говорю, что ты в том виноват, может – разность темперамента и (для меня, увы, бывшей) работы. О необходимости работы знаю хорошо. Папу твоего, которого я уважаю больше всех, с кем приходилось мне встречаться, создала работа. Ты на папу не похож, он сдержанный и собранный и весь построен на заглушенных тонах – у тебя напротив все тотчас же извергается и выбрасывается то, что подвернулось и захвачено порывом, у тебя постоянно звучат высокие ноты.

Женя не дает писать, требует, чтоб его занимали, и когда я губами щекочу его ручку, благодарно хохочет. Авось сам представишь, что могла бы я сказать, и с чем тебе не захочется соглашаться. В твое счастливое время я тебя не знала и не могу тебя представить иным. Что касается веры в тебя – то есть в твою работу – то неужели ты не понял то, что каждый кроме тебя, например, Дмитрий, понял, почему я не советовала тебе поступать на службу и почему иногда (как после стихов Катаева⁷⁷) горячилась. Но и тут, как и во многом, ты оттолкнул меня. Это касается того, что я не читала и не знаю, буду ли читать твои вещи.

О своей работе не думаю, стараюсь не мечтать. Пока я только с завистью думаю о тех людях, которые приезжая в Петроград, ходят по Невскому, по набережным, засматривают в витрины книжных лавок – таким я представила себе Маяка, видела афишу о его вечере.

– Я живу в отвратительном районе вроде Сретенки, окружена измученными больными людьми, а у самой кружится голова, как только выйду на улицу, тошнит и нет сил. В будущем, *если не придется работать* – буду завистлива, несчастна и зла – в лучшем случае не буду жить, это выйдет как-нибудь само собой. Не могу писать, слезы застилают глаза. О твоём отце часто думаю, о том счастье, какое было у вас, которое вы не полностью оценили и использовали, потому что не знали другого, не боялись гибельной наследственности и влияния среды. Папа все это пережил и всех вас заслонил собою.

Подоплека маминого письма – ее истощение и усталость, о которых она пишет далее в наброске своего письма к бабушке Розалии Исидоровне. Но в нем сказалась и реакция на вечное отцово недовольство собой и самомучительство, на его жалобы, что он тратит время зря, и то, что он пишет, никуда не годится. Мама припоминает, как с верой в его успех с горячностью сопротивлялась его желанию поступить на службу, а он спорил с нею. Вероятно, в одном из таких разговоров он обидел ее, сказав, что ей самой не нравятся вещи, которые он пишет и может написать в будущем, что она сама их не читала и читать не собирается. Неосновательный упрек больно задел маму.

Противопоставляя импульсивность папиного характера и подверженность минутным настроениям – твердой выдержке его отца-художника, мама глубоко угадывала роль дедушки Леонида Осиповича, который каторжным трудом вывел свою семью из узости мещанской среды в артистический круг образованного общества.

⁷⁷ Имеется в виду писатель Валентин Петрович Катаев (1897–1986).

Маму обижали папины “обещающие слова”, которыми он пытался убедить ее и себя в том, что завтра все изменится к лучшему. Она больше не хотела слышать об этом, считая, что он не выполняет обещанного. В действительности здесь затрагивались самые основы мироощущения отца и его глубокая вера во всемогущество жизни, не позволявшая ему долго замыкаться в мучительных и тяжелых переживаниях. Эта уверенность воспитывалась им в себе постоянно и спасала в самые страшные времена. Я часто в поздние годы сталкивался с этим, когда приходил к нему с жалобами на свои неудачи, казавшиеся мне безысходными, а он всегда находил слова убеждения и утешения, которым горячо верил сам и умел заразить меня. Это происходило не сразу во время разговора с ним, но его вера в целительную силу времени всегда получала подтверждение.

<27–28 мая 1924. Москва>

Нежно любимая моя, я прямо головой мотаю от мучительного действия этих трех слов, – я часто так живо вижу тебя, ну точно ты тут за спиной, и страшно, страшно люблю тебя, до побледнения порывисто. Ах какое счастье, что *это ты* у меня есть! Какой был бы ужас, если бы это было у другого, я бы в муках изошел и кончился.

Твой особый неповторимый перелив голоса, грудной, мой, милый, милый. И когда ты улыбаешься и дуешься в одно время, – у тебя чудно щурятся глаза и непередаваемо как-то округляется подбородок, ты знаешь про что я говорю, нет? – Ну как тебе это сказать. У тебя среди документов такая есть карточка.

Женя, Женичка, Женичка!

Ты слышишь? Женичка!

Но, рыбка моя, золотая моя любушка, сейчас эти трамваи пройдут и пароходы отвоюют, улучи миг затишья, вслушайся, Женичка, слышишь как я с тобой шепчусь. Милая, милая моя сестра, ангел и русалочка, ты всего меня пропитала собою, ты вместо крови пылаешь и кружишься во мне, и всего мне больней, когда раскинутыми руками и высокой большой грудью ты ударяешься о края сердца, пролетаешь сквозь него, как наездница сквозь обруч, о сожмись, сожмись, мучительница, ты же взорвешь меня, голубь мой, и кто тогда отстоит твою квартиру?!

Ненаглядная моя голубушка, у меня пересыхают губы от ласкательных слов, скользящих и свищущих по ним. Я беззвучно смеюсь и грущу, и пирую, и нравлюсь дождю, лепеча тебе весь этот вздор, и широко, замедленно долго, беззаветно и безотчетно, как глубокую большую реку держу тебя в руках и дышу тобою. Красавица моя, что же ты все худенькая еще такая! Милое аттическое бесподобие мое, не увечь моей ширящейся, как туман, особенной, высокой, боготворящей тебя, возвеличивающей тебя страсти. Здоровей и поправляйся, толстей, толстей, радость моя! Нельзя, недопустимо быть щепкой при таком голосе, при таких губах, при таком взгляде.

За волною этой нежности к тебе был возвращен на землю стуком в дверь. Подали твое письмо. (Это то, где о моем отце и заглушенных и высоких нотах.) Как ты права во всем, моя умница, да разве сам я всего этого не знаю! Но вперед вот о чем. У тебя голова кружится при выходе на улицу и тошнит?!! Как это понять, кровно родная моя прелесть, прелесть, прелесть! Напиши мне толком, что в Петербурге, для чего ты там и как понимаешь смысл и пользу твоего тут пребывания? Не решай опрометчиво, но, если ясно тебе, что для тебя там резкой и полной поправки не будет, то золото мое, какого черта ты там будешь маяться. Или что Сретенку собою красить? Но не стоит она того. Я и не знаю ее, да знаю. Тогда миготом собирайся назад, да дай только заблаговременно знать, надо будет няню сплавить (представь,

этот мост вздохов все еще в Венеции⁷⁸). А я тогда выясню насчет санатория хорошего с ребенком, это лучше всего будет, да иначе и нельзя.

Богом заклинаю тебя, друг мой, толком мне об этом напиши, как на то у тебя все данные имеются: глубина и здравость взгляда, суждения и соображения. Напишешь? И о работе. Обязательно надо тебе работать. Но вот как с няней быть? Не с этой, разумеется, с Евдокимовной, чтоб ей ни дна ни покрывки, а вообще: как и кого к ребенку искать? разумеется *только* няню. Никаких этих “одних” прислуг. Приспособлена ли Феня? Если, по зрелом обсуждении, тебе она представляется в качестве няни подходящей, мы экспроприируем ее, и от всех своих страхов я отказываюсь, мы ее просто в плен возьмем, и передачи ей будем допускать только заочные, через сновиденья или же через нас самих. Гулюшка, это письмо твое меня страшно опечалило. Радость моя, неужели ты меня не любишь? Ты так привыкла к словам этим, к мысли самой, что тебе трудно уже отличить действительное от допустимого? Так ли это?

Но как же быть тогда, мой друг? Ты только не грусти и не скучай, лапушка. Ты знай, что я бог знает как способен закапываться в мусор повседневности, жалкий, скудный и бедственный, и тогда я про все забываю, тогда сердце затихает у меня. Ничего я тогда не помню. Я враг тогда себе и всему своему. И говорите вы, милые мои глаза, что я и ей врагом был, душе в вас светящейся, ей, неотторжимо милой моей, моей жене? Грусть моя и прелесть, скорей, скорей хочу сказать тебе, что горячо люблю и всегда любил тебя, и только часто от тебя отступался, и не верю, чтобы вовсе это не нужно было тебе, слишком большое было бы это горе. Я отвезу письмо сейчас на Николаевский вокзал. Теперь уже 7 часов, ускоренный отошел верно уже, но думаю, что и с 9-ти часовым письма ходят. Это чтобы поскорей попасть к тебе, и обнять тебя, и с тобой поговорить. Прости, сам вижу, – письмо бестолковое.

Твой Боря.

В холода я вынул часть вещей из сундука. Сегодня назад клал. Твоя шубка привела меня в трепет. Я целовал ее.

А как ты чудно о папе пишешь. И как пишешь вообще. Умница моя!

Вчера я к поезду опоздал. Они все теперь на час раньше отходят и курьерский отбыл в 8 ч., а не в девять, как я предполагал. Дорогая моя, а зачем ты о смерти своей говоришь? (Я опять все о том письме, где о глухих и высоких тонах, о папе и о Сретенке.) Впопыхах, задумавши с письмом к курьерскому поспеть, об этом не заикнулся, а теперь эти слова меня преследуют. Белая моя Женюлочка, дочка моя, белоножка, сядь на пол, положи ручки в подол, и взгляни, какая ты маленькая еще, только не вставай, сиди, на ковре ты лучше поймешь.

Господи, как люблю я, когда ты дуешься и не то подбородок у тебя чуть-чуть подбигрывается, не то это в щеках дело, плотнеют они, горделивеют, хорошеют, и губы чуть-чуть поджаты, и на глазах близкие слезы. Но ты с полу не подымайся. Видишь, ведь ты вылитая козочка Маруся, Братовщинская⁷⁹, помнишь ее? Ведь твоя смерть кроме горя и слез и потери всех козочек и тоски была бы таким преступлением, такой слепой, возмутительной и к небу вопиющей жестокостью судьбы и спутников твоих в жизни, людей и вещей, что после нее, как убийцы, ни я, ни Женичка-мальчик, ни стихи, ни цветы, ни травы места бы себе во всей вселенной не нашли и всегда, вечно, во всех мирах этим бы казнились. Ведь это вот как вышло бы: сидела на полу, вся в белом, вся – жизнь и живость, вся – одаренность и огонь, вся в будущем и в обещаньях, неповторимая, исключительно-особенная, вся – нарядный бессмертник, большой, большой, и сколько души было, и ума, глухого, ваяющего, –

⁷⁸ Ponto dei sospiri (ит.) – знаменитый мост в Венеции, так Пастернак называет няню Евдокимовну.

⁷⁹ В Братовщине Пастернаки проводили лето 1923 года.

и сын был, чуть моложе ее, просто сказать, младший ее братец – и вот, не досмотрели, и кто-то спичкой спалил ее, или булавкой проколол, и не звав на помощь, не пожаловавшись, дала случаю сжечь себя, и никто, никто не знал. Гулюшка, к чему слова тратить. Я никому и ничему тебя не отдам. Не отдам и смерти. Я туда вперед тебя отправлюсь и встречу, ты ведь так несамостоятельна. Да пускай я сейчас это сквозь волнение и ласку говорю, но серьезно скажу тебе и в другом роде. Но потом как-нибудь, в другой раз. Эта мысль не уйдет. Я тянусь к жизни с тобой, беспечной, верующей, без теплой воды в душе, без пыли в груди и в мысли. Ты увидишь, Женичка. А сейчас прощай, я боюсь говорить о планах и намереньях.

За письмом незаметно вошел в полосу размышлений, которые пусть лучше пока моим секретом будут. На днях пошлю тебе денег немножко, ты наверное в них нуждаешься, и страшно боюсь, что успеешь в ближайшем письме об этом сказать, мне бы так хотелось предупредить твою просьбу. Получила ли ты мою весточку из Японии и как ее находишь? Как возмутят тебя верно все эти слова (в предыдущих письмах) о мальчике! Золотая подруга моя, разберись в них, они так же искренни, как то, что я тебе о тебе самой говорю.

Ведь я тем и плох, что часто все дела сдаю чувствительности, ведь именно доброта делает бездельником меня. Ведь ты это знаешь. Прикинь и сравни с этими жесточайшими моими словами то, что иногда рассказывала ты мне о своем отце и его капризах, и ты поймешь как все это далеко от эгоизма. Суровые вещи, которые иногда прорываются у меня, не от меня они идут, а через меня.

Я люблю эти проскоки высочайшего чутья сквозь свои склонности, они идут от того, что за мной и надо мною, и им поклоняюсь. Это веянье больших крыльев природы, которую на целые годы забываю я, и которая врывается, красуясь и требуя веры в себя и восхищенья. Одна и та же сила внушает мне, что ребенка надо доверить ей, что она, некомпанная, в ветрах, дождях и солнце, должна стать между нами и капочкой, а про тебя, что я в ветрах дождях и солнце должен стать между тобою и смертью. У ней голос один, а внушение о яблоневой гусеничке и о тебе – разные.

Гулюшка, отчего я и теперь, в самой полноте и силе чувства к тебе не чувствую в тебе союзника? Детка, прояви и ты хоть чем-нибудь, хоть как-нибудь, что некоторые из слов до тебя дошли. – Что ты намерена Жоне написать, получила ли ты мою копию с ее письма? Напиши папе, отцу моему, хоть половину тех чудесных мыслей о нем и нас, которые у тебя в письме ко мне.

Да кстати, деньги, что я тебе слать собираюсь, часть их подарка: я 50 долл. получил, Шура их у Елиной⁸⁰ взял. Ответь на существеннейшие вопросы из вчерашнего письма. Остаточности твоей поправки и пр. В три кольца обвиваюсь вокруг твоей груди и шеи.

Твой удав.

<30–31 мая 1924. Ленинград>

Пятница

Боричка, как я рада, был у Жени профессор Абельман, сказал, что чудный ребенок, никаких признаков (как он говорит) английской болезни нет, что в шутку или насмешку можно было сказать, что у него рахит.

Суббота

Прелестный здоровый ребенок, прелестная головка, дырочка нормальная, зубы – это ничего не доказывает, у кого раньше, у кого позже, сидеть и стоять чем будет позже, тем

⁸⁰ Надежда Григорьевна Елина, жена знакомого старших Пастернаков Генриха Марковича Елина, который недавно вернулся из Германии и виделся с ними.

обеспеченней ровные ножки и спина; пока все прямое и хорошее, а гоняться за ранним вставанием, говорит, не следует, не на приз же ему. Желудок еще не в порядке, но все-таки велел кормить бульоном (это меня беспокоит, сегодня его еще несет здорово, позвоню по телефону, посоветуюсь еще раз).

Начала писать вчера. Боричка, спасибо тебе за письмо, где ты пишешь о капочке, оно сполна дошло до меня и заботой, и сердечностью, и желанием серьезного и ласки — оно единственное настоящее по тону из твоих писем.

Странно, насколько Жонины слова для меня существуют как вещь, настолько твои только настроение. Жонино, помимо всего там написанного, поразило меня необыкновенной выразительностью, как будто у нее мысль уже рождена в платье (в слове). Я думаю, что это результат большого внутреннего напряжения и правды пережитого и переживаемого (это-то и огорчает больше всего, если б это было твое письмо, оно бы меня не огорчило). Боря, я не утверждаю, но, может, так бывает: — Жоня только смотрит на жизнь и оттого у неё выражение сильнее действует, как будто для того, чтоб дать верный цвет, нужно забыть, что есть воображение и не нужно смотреть на палитру, а до боли перейти в цвет натуры.

Я пишу это, Боричка, только про письма, не говоря о твоей работе, но там-то ты вглядываешься в возможность, в реальность *фантазии*, может, там настроение сперва создает эту реальность и потом, когда эта реальность перед тобой на бумаге, с ним без последствий и обязательств можно расстаться. Ну расписалась.

Вчера мама сняла дачу, станция Тайцы по Балтийской дороге, точный адрес пришлю, когда перееду. Переехать думаю в четверг, вряд ли удастся во вторник. Я дачи не видала, потому что Женя теперь только меня ест, а за 4 часа туда съездить нельзя. Мама рассказывает, верх — мезонин, две комнаты, маленький балкон, кухня. Дача стоит в поле, около дома садик с терраски видна река, соседнее место Додерхоф, расположенный на горе и т. д., опишу, когда перееду. Стоит 4½ червонца за лето да дрова рублей 5. Боря, нужно мне деньги прислать. 4 червонца стоила коляска, 2 врачи, 1 ушел на носильщиков, извозчиков и чаевые в Москве, три дала маме на расходы, я здесь уже 3 недели, она хочет мне вернуть, но мне это неприятно, да у нее и денег нет, вот и все, было 10. Если сейчас тебе негде достать, напиши, я здесь, может, займу, но тогда придется просить у Хили или его знакомых. За медаль⁸¹ дают только 6, потому что золото не в цене, жаль мало, но если нужно, продам.

Няню непременно выставь, уже 2 или полтора месяца, как мы ей отказали, прибегни к какой-нибудь хитрости, скажи, что тебе нужно уехать на время, и ты должен запереть квартиру. Я с ужасом о ней вспоминаю, она хитра, ехидна и, погляди, как настаивает на своем, прошу тебя очень, избавься от нее, очисти воздух. Потом на нее тебе тоже приходится тратиться, а я с трудом решила дать перед отъездом на дачу Пане 5 рублей. Она чудная девочка, все перешивает и штопает свою единственную юбочку и на все лады завязывает бантик в волосах, чтоб выглядеть наряднее. Получает она 5 рублей и целиком отправляет их своей матери. Она грамотная, училась в школе, знает много песенок, играет, возится и баюкает Женю, и умело и хорошо с ним обращается, вообще смышленная и интеллигентная девочка, которая понимает все с первого слова. Но взять я ее с собой на дачу не могу, я ее там заму-чаю, ведь там придется варить нам и Жене, стирать, приносить воду. Поеду с Феней, она толстая и здоровая, себя в обиду не даст, попробую ее к Жене приучить, а осенью видно будет. Спасибо за карточку, всего хорошего.

Женя.

Я и не думала, что здесь еще чистая страничка. Получила твое последнее письмо сегодня в 2 часа ночи, когда встала кормить. Паня мне его подала, получилось оно в 7 часов

⁸¹ Медаль, полученная за окончание гимназии.

вечера, но мама уходила до 12. Взрывы любви пробегала быстро и недоверчиво, чуть ли не как шутку. Ведь за два года, кроме самого первого, я не видала с твоей стороны активной (не то слово и не могу его найти) может, *радости* и нужды в моем очаровании, все всегда было затуманено и покрыто грустью, а только удовлетворенность, радость и свет – утверждают.

Пришли Современник (стоит 3 р.) и Идитол.

Научно-фантастический роман Сергея Боброва “Изобретатели идитола”, который мама просит прислать ей, был издан в 1923 году в Берлине при прямом участии отца.

Талон от почтового перевода на 50 рублей:

30. V.24. <Москва>

Дорогая Женичка, сообщи, когда получишь. Прости, что так мало, как только смогу, пришлю больше.

Жалко, что переводом нельзя послать тебе чудесной сирени и кучи других цветов, цветущих и благоухающих на театральном сквере, который вижу в окно (почтовое отделение в Метрополе). Жаркий солнечный день, центр сияет, тени фиолетовые, зелень черно-зеленая, дорожки оранжевые, разносчики в белых передниках продают желтые лимоны.

Боже, какой глупый тон! Так в 16 лет пишу. Обнимаю.

3 <июня 1924> вторник <Ленинград>

Боричка, спасибо, 50 рублей вчера получила. Получила накануне и письмо, где пишешь, что хочешь тебе предупредить мою просьбу денег, так это почти и вышло, мое письмо и деньги отправились в путь одновременно, а может, письмо и позже.

Завтра мама и Феня должны поехать на дачу перевезти вещи, а я надеюсь в четверг. Только что складывала чемодан. Женичка еще болен, то есть у него все еще не прекращается расстройство, я ездила опять, то есть это всего второй раз к профессору Абельману и в результате решила сама по-своему лечить. Я напишу тебе весь ход болезни (вообще Женичка весел и по виду здоров) и советы врачей, и буду тебе благодарна, если ты зайдешь или обстоятельно поговоришь с Абрам Осиповичем по телефону и напишешь мне, потому что если пройдет еще неделя, меня это будет сильно беспокоить, во-первых, потому что уж больно долго это продолжается, и во-вторых, потому что Жене уже 8 месяцев и 10 дней, а он кормится только грудью.

Итак, числа 15 мая я начала Женю прикармливать бульоном, причем не приняла во внимание, что, может, надо прикармливание начать постепенно и боясь мешать обед с грудным молоком, я в *первый* день дала ему немного меньше, чем $\frac{1}{2}$ стакана бульона, во второй $\frac{1}{2}$ стакана бульона и 1 столовую ложку протертых овощей (морковь и брюква) и в третий день $\frac{1}{2}$ стакана бульона и без мерки, думаю ложки *3 полных столовых* протертых овощей (мама протирала и поднесла их мне уже в стакане, а Женя ел и я радовалась и кормила). На следующий день испортился желудок, сперва несло овощами, а потом несло просто, на второй день 8 или 9 раз. На третий день заболевания был у меня Абрамович, велел дать *касторку чайную ложку*, после касторки велел давать *перед каждым кормлением микстуру*, туда входил бисмут, салол и все это в миндальном молоке (Абрам Осипович, вероятно, знает) и 6 столовых ложек рисового отвара тоже перед каждым кормлением <...> Через три дня, то есть на 12 день заболевания Абрамович был опять и установил прикармливание (очень странное на мой взгляд). <...> больше всего меня смутило постоянное прикармливание *перед каждым кормлением коровьим молоком* и долгий затяжной подход к прикармливанию. Я на следующий день позвала профессора Абельмана. Про желудок сказал, что зеленый цвет – не важно,

что слизи – не много, велел прикармливать: *коровье молоко не давать* до августа месяца, начать с бульона плюс 1 столовая ложка протертых овощей плюс 1 чайная ложка подогретого масла, все вскипятить и начать давать всю порцию сразу, чтобы не смешивать прикорм с грудным молоком. Когда привыкнет к бульону, приблизительно через неделю, начать давать *10 ложек каши* манной, рисовой или геркулес на молоке и тоже всю порцию *сразу* опять-таки, потому что он против смешения коровьего молока с грудным.

Профессор ушел, а Женю опять (дня три он имел желудок по 2 или по 1 разу в день) пронесло тут же три раза, а на завтра 4, и на следующий день опять 4 или 5. Я, конечно, бульона ему и не начинала давать и опять поехала к нему с пеленками. Это было в понедельник 2 июня. Посоветовал давать один раз в день кашу на воде рисовую с прожаренным маслом, 10 ложек сразу и один раз в день 10 ложек говяжьего бульона с протертой перловой крупой, тоже 10 ложек сразу. Если желудок не успокоится, позвонить ему, а если хочу ехать в деревню, взять с собой касторку. Я решила и сегодня так и делала. <...> Если желудок укрепитя, начну опять давать постепенно кашу по рецепту Абрама Осиповича.

Прошу тебя очень все тотчас же передать Баландеру и мне ответить. Все это время с начала болезни Женя получает только грудь. Я надеюсь, что дней через 6 у меня будет ответ, я продержу его на грудном молоке. Вообще же начать прикармливать еще нужно и потому, что меня очень истощает кормление, я, кажется еще похудела в Питере, вообще выгляжу очень скверно. Но вчера мама позвала ко мне врача. Легкие и сердце слава Богу здоровы, истощение, но это, даст Бог, наладится.

Всего тебе хорошего.

Женя. <...>

<7 июня 1924. Москва>

Дорогая Женичка! Сегодня *суббота*, сейчас 2-й час дня, я *только что* получил и прочел твое письмо от *вторника*, с росписью Женичкиных страданий и с просьбой поговорить с Абрамом Осиповичем. Я звонил ему, его дома нет, он только поздно вечером будет дома, *вероятно* я сговорюсь с ним на завтра утром (воскресенье). Тогда допишу деловую, то есть медицинскую часть письма, а пока набросаю часть здоровую.

Как медленно идут от тебя письма. Правда, вина наполовину лежит на государственной почте, но и ты очевидно не умеешь их отправлять. Имей в виду, что если ты опускаешь письмо в ящик где-нибудь в городе даже среди дня, а не ранним утром, то оно лишь на *следующий* день отправляется на *Центральный Петроградский почтамт*, потом в особо благоприятных случаях в тот же день, а иногда и на другой, если опаздывает к почтовому, идет в Москву, где та же процедура с двумя отделениями (Мясницкой и Пречистенским) растягивается и у нас на два дня. Твое письмо получено 20 минут назад. Сегодня суббота, время – половина второго дня. Написано оно во *вторник*. Я этого не сочинил. Это факт.

Ну так вот. Когда срок нас не интересуется, можно письма опускать, не заботясь куда и когда их опускаешь. В таком случае, как настоящий, когда ты на оба конца (с ответом) кладешь 6 дней, надо было об этом подумать. Что можно в этом смысле сделать. Не говоря уже о “спешной почте”, можно самому сделать именно то, что делает спешная почта. Надо письмо написать среди дня и снести его на Николаевский вокзал к почтовому или даже к скорому и опустить письмо в поезд. Надо тебе знать, что даже из ящика, висящего на вокзальной стене за его дверями, почта вынимается и увозится в город, на главный почтамт. Остроумно устроено, неправда ли? Задержку на полдня с Баландером я допускаю не только оттого, что это неизбежно (его дома не будет), но еще и оттого, что завтра воскресенье и даже если бы мое письмо пошло сегодня (с вокзала) и завтра было бы в Петербурге, этот воскрес-

ный день оно пролежало бы без дальнейшего движения к тебе. Надо надеяться, что таких исключительных случаев больше не будет. Вообще же не мешает это принять к сведению.

Когда ты будешь в Тайцах, письма будут верно идти недели по две в конец. В этом ничего страшного нет, труден только этот первый перерыв, а потом промежутки между письмами будут соответствовать промежуткам между их написанием и отправкой. Если бы я уже знал твой точный адрес, я заранее бы пустил туда первое письмо, пока ты еще в Петербурге. Вероятно, ты их будешь получать на станции, то есть ходить и посылать за ними? Делай это не чаще двух раз в неделю. Бывает очень больно и грустно среди природы (совсем иначе нежели в городе) и независимо от того дороги или нет письмо и человек, который их пишет, и насколько дороги, – бывает страшно грустно, говорю я, придти под вечер на станцию, пропустить поезд, справиться в сторожке и пойти ни с чем домой, в косом свете садящегося солнца, которое так было похоже на получку письма и так его обещало, пока шла ты на станцию.

Вот ты писала, что я человек настроенья, золотая девочка, в том чудесном своем письме, где столько радостного о мальчике и из которого я впервые об Абельмане услышал. Если тебе это не близко и ты этого не любишь, что делать мне тогда? Ведь это не то, что я сам, – это больше: это лучшее во мне; то есть это то, что очищает слух и чутье, и делает их отзывчивыми на все подлинное кругом, на все, кроме условности и претензии. Кому и может быть это близко, как не тебе?

Вот я думаю о тебе, не как о той, к которой я тянусь и которую люблю, не как о жене, а просто без зависимости от тебя. Что в тебе главного? То что ты сильно и *бесподобно* (это источник твоего очарования) отчеркнута от условности и бесцельного притязанья. Ты отталкиваешься от бережливости и попрошайничанья всех видов всеми неуловимостями своего существа, – кончиком ноги, подбородком, округло угловатой порывистостью своего кокетства (знаешь, когда тыходишь, задорно наклоняясь вбок и смеясь, и вдруг выпрямляясь). Так вот, оставь мне мои настроенья, мои глаза, которыми я вижу тебя и гляжу, и полюби их, они преданные тебе силы, они не ниже той радости, которую ты доставляешь им, гордясь и любуясь тобою, я радуюсь, что оживаешь ты для меня не так, как живут жены для мужей, – да, да, наконец позвольте мне кое-что знать, – нет, но как последовательно, с детства, круг за кругом оживала и открывалась слуху природа и Бог, и таинственно секретничающая тишина поэзии, то есть та неопикуемая тонкость, которая трепещет и в самые безветренные ночи, когда не шелохнется и листок.

Но в первый раз ступай на станцию спустя не менее, чем две недели по своем переезде.

Посылай мне письма как угодно, но только часто. В тех же случаях, когда потребуется скорость ответа, опускай не на станции Тайцы, а поручай надежным людям, едущим в Петроград, опустить лучше всего близ Исакия, поближе к главному почтамту, если не в нем самом. И затем сообщи мне не только тот адрес дачи, что на конверте писать (верно до востребования?), а и точное наименование дома и места, где будешь жить, люблю в таких случаях услышать имя хозяина, название места, характер соседства – во всем этом столько неожиданно значительного подчас. Думается, что это письмо тебя уже на Ямской не застанет. Если это так, то наверное дача тебя встретила сразу же холодами, и ты приуныла верно, а теперь дело обернулось опять к теплу, и ты тонешь в грустном богатстве одиночества в природе.

Сообщу тебе вот что. Стелла бедная опасно больна и страшно мучится. У нее – что-то серьезное с почками (камни), и когда бывают припадки, она впадает в беспамятство. Сегодня в четвертом часу ночи бегал в аптеку за морфием, старики и Юлия Бенционовна голову потеряли и ходят как помешанные. – Папа уехал в путешествие свое. Теперь он кажется в Александрии. В Берлине на квартире осталась одна Лида, Жоня с Федей увезли маму в

Мюнхен. Папа вместе с ними выехал, но с тем, чтобы ехать дальше на Триест (Италия), где он должен был сесть на Александрийский пароход.

Шура еще в Москве. Он получил спешную сдельную работу какую-то (составление сметы) у Збарского⁸².

С деньгами у меня совсем худо, как впрочем и у всех тут, но ты не беспокойся, чувствовать тебе этого не придется. Не беспокоюсь и я, потому что эта моя серьезность с тобой идет рука об руку с какой-то глубокой и ничуть не смеющейся, почти верующей беспечностью, как ты правильно предрекала. Женя, я горячо люблю тебя и хочу, чтобы ты меня любила. Женя, я хочу, чтобы ты взгляделась в меня и нашла свое во мне, в том, что ты так тихо и так издали называешь настроением. Я не знаю, как это сказать тебе, и нужно ли это, но если бы ты изредка перелистывала под деревьями “Сестру” или “Темы”, то знай, что если книжки эти колеблются между Лермонтовскими и женскими руками и часто надолго попадают во вторые, то единственная в мире женщина, с которой рядом лежит этот поэт и его мир, и к ней льнет и его мучитель, то это ты, Женя, моя, моя Женя, моя Женя. Это и на пригорке, где ты сидишь, и на горизонте, который за тобою, и на том, что перед тобой, но к чему говорить это. Содрогаться правдой этого надо *мне*. Тебе подлинной этого даже и знать не надо.

<Далее на двух листах приведена моя история болезни>

Гулюшка, ты видишь, я переписал твое письмо, тщательно его расчертив, чтобы ему легче его читать и делать на полях соответствующие заметки. Однако Абрам Осипович прочел его вслух, постатейных замечаний не делал и только в конце сказал очень немного, часть которого я за ним набросал, что успел (лиловыми чернилами). К тому, что там написано, надо прибавить вот что. Мальчик и теперь должен в весе прибавляться, не менее чем по четверть фунта в неделю. Если и при поносе он прибавляется, то это почти лишает понос, как явление, всякой огорчительности или серьезности. Однако если желудок не установится, поезжай с ним в Петербург и пригласи тогда (какой ближе) кого-нибудь из трех указываемых им специалистов по грудному возрасту и живи в Петербурге под их наблюдением, то есть с возможностью всегда их спросить, все время пока не выздоровеет.

Не менять врачей, а то у каждого свой план, и чтобы врач приспособился к данному ребенку. В деревне при отсутствии врача самое лучшее то, что ты решила (то есть грудь и рисовый отвар). Держать на воздухе, но не на солнце, лежание на солнцепеке вызывает поносы. Хорошо класть согревающий компресс на живот на ночь. В порошки Абрам Осипович и сам не верит.

Советы давать трудно заочно. Прежде всего обратиться к одному из указанных Абрамом Осиповичем специалистов по грудному возрасту.

Это: доктора А. Н. Антонов, женщина-врач Зинаида Осиповна Мечник или Леонид Эдуардович Валицкий (узнай в справочнике каком-нибудь адреса). Тому именно, к кому обратишься, скажи, что к нему (одному) советовал обратиться Баландер. Это располагает и обязывает к сугубой внимательности. Тогда он и приведет мальчика в порядок, причем пока сам не предложит кого-нибудь позвать, не перебивай его лечения приглашением другого врача. Если у мальчика желудок установился, он говорит, процедуру прикармливания ты знаешь сама. Если он весел и с виду здоров (а также и в весе прибавка), все это не так страшно.

Очень тороплюсь, хочу, чтобы письмо сегодня отошло, повезу на вокзал.

⁸² Борис Ильич Збарский (1885–1954), биохимик, занимался бальзамированием тела Ленина и пригласил А. Л. Пастернака составить альбом красок для поддержания натурального цвета лица. См. об этом: Пастернак А. Л. Воспоминания. М., 2002.

Эпистолярная лирика чередовалась с практическими советами по уходу за ребенком. Мы опустили в своей публикации вложенную в папино письмо подробно переписанную им с маминого историю моей болезни, которую он обсуждал с доктором. Она выписана на левой половине листов, справа лиловыми чернилами он набросал ответы доктора и его рекомендации.

Одновременно папа передавал известия, полученные от бабушки и дедушки из Берлина. Дело в том, что в то лето Леонид Осипович был в качестве художника приглашен участвовать в экспедиции в Палестину. Оттуда он привез замечательную серию зарисовок пейзажей и уличных сцен и ярко описал эту поездку в своих записках.

Тайцы. Пятница, 6. VI. <1924>

Вчера переехала. Предварительно куча неприятностей, которые главным образом пришились на долю мамы. Она в среду поехала с Феней и вещами и опоздала на поезд, Феня уехала без багажа, мама догоняла ее на поезде дальнего следования, в багаже сломали коляску Жени (ручку и боковые палочки) *etc.* Вчера Женя кричал всю дорогу больше часа, удивляя меня и всех бывших в вагоне (кажется хотел спать и не знал, как уснуть). – В прошлом.

Теперь слушай. Дача вполне твоя до странности. Она вся на поле, вроде того, как твоя комната в Марбурге, видна насыпь, железнодорожные линии, с раннего утра до поздней ночи мимо пролетает поезд и купается в двух озерах, которые тоже видны тут близко, разделенные шоссе. Дальше лес и горы. Верно, не вру, одна гора, покрытая лесом Дудерхоф, может, вру, так мне сказали, другая, кажется, Пулковская обсерватория, покатые невысокие хребты, по которым с совершенно той же скоростью мог бы вползать тот игрушечный *Harz'*овский поезд. Перед дачей пока Женин (во вторник переезжает вниз пятеро детей разного возраста) садик, сирень, жасмин, розы, яблони, – пока еще не цветут, – где Женя спал сегодня целый день и несмотря на то, что было не жарко, у него немного обожженное личико. Он вырос и стал многое понимать, издали узнает, машет ручонками и кричит у...у, наставляя губки так же, как когда собирался свистеть и так же отбрасывая от себя ноги и глаза.

Только что спросила адрес – улица называется Евгеньевская. Пойду завтра в здешнее почтовое отделение и спрошу, можно ли тебе писать непосредственно сюда. На станции сегодня видела объявление – плакат – подписка на журнал “Леф”, в редакции Асеев и т. д., тебя нет, но все-таки чудно – в Тайцах – Леф. Трудно представить себе все так, как оно есть, потому что несмотря на то, что где-то около станции есть почтовое отделение и магазин, где можно все достать, все пустынно, игрушечно и на курьих ножках, у нас, хотя расстояние от станции только 10 минут, но даже дороги и даже ворот, куда можно въехать, нет, около нашей дачи забор готов обвалиться, и входят через дыру, заставленную доской, пройдя по неровному полю, где пасутся под присмотром двух девочек, читающих книжку, три коровы.

Пора спать, но я почти не сплю, ночи белые, а комнаты (спальня моя и Женина и столовая, крохотные коробочки с низкими потолками) во всю стену стеклянные, в спальне балкон, а столовая – это терраска с стеклянной стенкой.

Всего хорошего. *Женя.*

Спокойной ночи.

Пошел частый мелкий дождик.

Может, я тебе и местность не так описала, это не горы, нет, две горы, вернее, два длинных холма издали, а здесь равнина и видно у нас сверху все небо.

Понедельник.

Я в отчаянии от своей неопытности и несообразительности. Вчера с 8 часов утра до 11 был ветерок и прохладно, я не закрыла Жене лица, потому что мне казалось, что холодно, а сегодня у него темно-красная маска от солнца по линии чепчика с распухшими глазами, страшно и больно на него глядеть. Не знаю, решусь ли я его оставить на часок, чтобы пойти на почту узнать, можно ли присылать тебе письма на дачный адрес. Солнечный хороший день, но мы сидим дома.

<10 июня 1924.> Тайцы, вторник.

Ленинград. ст. Тайцы (Балтийская ж.д.)
Евгеньевский пер. д. № 3 (бывш. дача Карновского)
Евгении Владимировне Пастернак
Вот где мы живем.

Жене сегодня лучше, щечка бледнее, и спала немного опухоль с глаза.

Нижние жильцы разговаривают между собой по-немецки. Крестьянка приходила предлагать дров и заговорила со мной об Евангелии. Здесь много евангелистов, которые славятся своей опрятностью и честностью, большинство из них финны (чухна, как их здесь называют), раньше были протестантами. Рассказывала, что с тех пор, как ее вновь окрестили и стали они жить по Евангелию, вполне она счастлива. Братья их, довольно многочисленны, друг другу помогают в нужде, есть у них свой молельный дом, где они часто собираются, читают Евангелие, молятся. Икон не вешают, театр и всякие развлечения запрещены, ибо нигде не сказано, что Христос развлекался. Верят они действительно крепко, за год у нее умерло двое детей, она говорит, что сильно тосковала, но что значит так Господу Богу было угодно. Бранные слова, вино, карты, табак строго запрещены.

Снилось мне вчера, что к папе пришли врачи делать исследование (у него опухоль в области мочевого пузыря), я знала, что исследование должны на днях делать, мне стало сперва дурно, но потом, слыша, что папа кричит, я зашла в ту комнату и пристыдила его. Вчера звонила мама по телефону, действительно, исследование было очень мучительно, ввели маленькую электрическую лампочку в область мочевого пузыря и осветили, оказалось расширение какой-то железы и скопление...

Я пишу тебе глупо и больше не буду, потому что хотела только отправить тебе адрес. Три дня хорошая погода, несмотря на волнение и заботу о Жене, мне хорошо, потому что одиноко и приятно скучно, так скучно мне было в Крыму и, когда я часто переезжала еще девочкой заранее одна, в деревне. Даже не хочется прогонять безделья, а только дышать и смотреть. Так бывало, вероятно, с тобой в овраге Бибииков.

Что слышно у Шуры. Кланяйся ему и Ирине Николаевне очень. Пришли книги, если не трудно.

Четверг, 12 <июня 1924. Тайцы>

Жаль, что ты так понял “настроение”. Нет, я говорила совсем о другом, о фейерверке, о безвольной отдаче себя вошедшему человеку, случаю, о частых сменах, опять-таки о темпераменте, о всяких *пере*, – но не подумай, что я за умеренность, нет, конечно, я за максимум, но не в разговоре с Татидой (нарочно вспоминаю самый смехотворный случай), да ты сам знаешь, когда просыпалась во мне враждебность и когда не доходили до меня твои настроения. Не буду утверждать и защищать себя, но я никогда не признаю, что была неправа. В

некоторых случаях, как например, с Гавронским⁸³, с Богуславской и т. д. мы договаривались, и ты понимал, что и как подступало у меня к сердцу, к горлу, в других труднее было мне даже самой дойти до самого источника враждебности, тем более дать почувствовать другому, что он есть и что иначе я не могу.

Боже тебя сохрани, уступать мне просто потому, что у меня бледное, подавленное лицо, – это потом вновь еще сильнее набрасывается на меня в словах “зачем и что ты со мною сделала”. Умоляю никогда мне не говори: прости, не увидев до конца, что в этом правда, ведь даже твои слезы и рыданье (как в ночь на Новый год в Берлине) приходится считать настроением (я не знаю, поймешь ли ты опять, что я хочу сказать этим словом – это *случайно*, то есть ты вышел, *поговорил* с Зайцевым, и оттого такое было настроение, а не прямо от *причины*). Вот почему до меня не доходят все ласковые твои слова, мне кажется, что не я их вызвала, что случайно в это мое отсутствие у тебя такое настроение. Разве не больно тебе, когда те, кто сами тебя нашли, кто тебе рассказал про тебя, потом говорят, что ты плох. Кто просил их, кто заставлял.

Я боюсь возвращения к московской жизни и не раз воз вращаюсь к мысли о жизни одной. Ты зимой мне несколько раз говорил, что мое желание жить отдельно были только слова. Нет, не слова, ты сбивал меня и тогда своими разными настроениями, сбиваешь и сейчас. Получая твои письма, начинаешь их слушать, забываешь зиму, забываешь, откуда вырывались разговоры о разводе. Боря, для меня все это не было словами, и сейчас, от малейшего повода все всплывает, и когда я получила как-то твое письмо с словами “зачем”, я написала тебе только несколько слов, где говорила, что все мое желание направлено на то, чтобы не жить с тобой и просила при случае не упускать для меня комнаты, где-нибудь в Серебряном Бору и т. д. Письма я не отправила.

Зачем я пишу тебе все это. Вовсе не для того, чтобы сказать, что ты плохой, нет, нет, я этого никогда не думаю. Я только думаю, мне ли это по душе. Я пишу для того, чтоб не повторилось прошлое время. Ведь не я одна, ведь и ты часто говорил, что тебе со мной трудно и мучительно. Не забывай же этого, оставить это в стороне нельзя, надо быть уверенным, что оно не вернется, не повторится, надо знать, возможно ли нам жить вместе.

Хватит, больше не буду не только в этом письме, но вообще повторять все одно и то же, но прошу тебя очень после двух, трех месяцев моего отсутствия опять вместе со мной обо всем подумать, потому что в разлуке забывается очень многое, что потом спустя месяц опять болезненно и больно встает. Возвратясь теперь к маме и своим, я была подавлена тем, с какой силой встало то, что когда-то было мне не по душе. О, Боричка, какие наши все измученные и несчастные, и какой жестокой надо быть, чтобы сознавать и проводить свою отчужденность. За письмо о Жене большое спасибо. Пиши на адрес дачи, будут приносить.

В первых письмах из Тайц, отрешившись от семейной суеты и рисуя дачное одиночество, мама удивительно точно передала отцовское восприятие Марбурга, железной дороги, близости к природе. Упоминаемый в этом контексте Бибиков овраг вызывает в памяти сцену в шестой главе первой части “Доктора Живаго”, когда Юра мальчиком, приехав в Дуплянку, плакал и молился в сырой тьме оврага, взволнованный красотой и запахами леса. Вероятно, этот эпизод был пережит самим папой в отрочестве на даче в Оболенском летом 1903 года.

Мама уточняла также свое определение “человека настроения”, которое отец понял как невозможность полюбить в нем то, что составляло самое существо его характера. Ее огорчало его безволие и неумение поставить предел чужой навязчивости, подчас неприятной для него самого. При этом она напоминала эпизод с Богуславской в Берлине и разго-

⁸³ Александр Осипович Гавронский (1888–1958), сын крупного частоторговца и друг ранней юности Пастернака, кино-режиссер.

вор с Александром Осиповичем Гавронским. Борина давняя дружба с ним уже с 1911 года неоднократно оборачивалась враждой и взаимным раздражением. Из различных писем этого времени видно, как отец сам мучился этими помехами и писал, что “сплошное посещение друзей” было “не последнею причиной” того, что ему так плохо работалось.

В мамином письме точно обрисованы психологические трудности семейной жизни и отчетливо сформулировано ее желание жить одной, чтобы не мучить друг друга разницей темпераментов и устремлений. Но папе верилось, что все можно наладить и устроить, если сильно хотеть этого, еще больше любить друг друга и научиться друг другу уступать.

Понедельник <16 июня 1924. Москва>

Чудный полуангелок, долго же ты не видела от своей свиньи писем! Это оттого, дружок мой, что вся Москва сидит без денег, и что тоже немаловажно, – в африканской духоте, под палящим безоблачным небом. Москва же, Гулюшка, это надо уж навсегда признать – Москва это моя касса. Затем еще и возился я с рассказом, который начал хорошо, но едва три дня продержавшись на высоте, две недели ковырялся в ерунде, с уровня сорвавшись. Вчера опять хорошо записал, и если бы ты меня вчера вечером встретила, даже ты бы в меня влюбилась.

Я был чист, свеж, спокойно взволнован, все то что называется выражением лица лежало у меня на дне крови и тяжело сердце, и ни на что не глядя, я, катя к Лундбергу⁸⁴ на трамвае, последовательно видел все, то есть был зреньем предгрозового воздуха до самого горизонта. Но я пошутил, говоря о твоей любви. Этой, *такой* я научен не ждать и от тебя. Красноречивы признаки: ведь я сам в неподвижном волнении любил, выдыхал и продумывал тебя, с той печальной полнотой, которую знает любовь безответная, – несчастная, как ее называли.

Но, – мимо и о другом.

Тебе давно наверно нужны деньги, и опять вероятно как уже раз, разминутся и встретятся эти слова, произнесенные двумя голосами. Мне до сих пор ничего не удалось сделать, и я об этом немало убиваюсь. Но в теченье этой недели добуду во что бы то ни стало, и если еще не снял купольной облицовки с Храма Спасителя и не продал, то только оттого, что еще надеюсь достать их менее утомительным и обращающим на себя внимание путем. Ты ради Бога не беспокойся и мне не говори про них. Сделаю, непременно сделаю, для того и живу.

Папа уже в Африке, и если мы тут потом обливаемся, пропитав гражданскими запахами брюки до самых ботинок, то мне легко вообразить, что это меня сыновнее сочувствие прожаривает и парит, сочувствие в сорок градусов, как в этом признаются московские термометры. По улицам ходят млеющие полуобмороки, их лица в мелких капельках глицерина.

Но значит жарко и в Тайцах? Вот это хорошо, пора согреться. Загорай, милая моя, милая, милая. Ты пишешь, что дача на удивление моя. Как я это знал: я ее родил в том чувстве, с которым гадал о почте, о том как будешь ты справляться, нет ли чего для тебя.

А я про Тайцы неожиданно узнаю тут (как тесен мир) от людей живших там, что чудесная местность. Бедные мы, Гулюшка, бедные. Ах, когда б везли до Тайцев, не высаживая зайцев. Но нечего об этом и думать, дал бы то бог для тебя денег достать. А все же я со своей беспечностью и верой в тебя не расстаюсь. Господи, как я мечтаю тебя увидеть.

Может быть удается к осени выправить линию. И тогда мне бы хотелось заехать за тобой. Но неужели и это не будет возможно. Удивительна иногда судьба быстрых, произвольно срывающихся слов.

В этом письме, когда я вызываю твой образ, у меня бьется жилка в глазу, слова, которые я хочу тебе сказать трепещут и волнуются, и то идиотское слово, которым письмо открыва-

⁸⁴ Евгений Германович Лундберг (1887–1965), писатель, журналист.

ется, вырвалось так же. Но даже и я уже не могу прочесть в нем той бьющейся неуловимости, которая так сложила мои губы, как полусонные, полужакрытые... полужабытье.

Обнимаю, падаю и не подымаюсь.

Твой Боря

P. S.

Спасибо за письмо от двенадцатого (карандашное). Это то, помнишь ли ты, где об отдельной жизни, о моих настроеньях, о том, что разлука стирает дурные черты и стороны, глубоко идущее, из глубины идущее, как всегда у тебя, письмо. О Боже, Боже. Сколько в нем верного. Сила разлуки? Ну и пусть. Так давай у нее учиться и на будущие времена. Не думаешь ли ты, что мы постоянно меняемся ролями и моя перешла к тебе?

В продолжение разговора о смене настроений, которая вызывала у мамы недоверие к папиным словам о любви как состоянию данной минуты, отец пишет о мучившей его в течение двух предыдущих недель работе над неизвестным нам “рассказом”. Он собирался его доделать и включить в сборник прозы, договор на который подписал в Ленинграде.

Его душевное состояние всегда зависело от успеха работы, которая поглощала его в данный момент, но быстрые переходы от радости к страданию были слишком мучительны стоявшему бок о бок к нему человеку, совместно переживавшему эти смены. И при том у них не было даже другой комнаты, чтобы смягчить мгновенную реакцию и не наталкиваться друг на друга на каждом шагу.

16 <июня 1924. Тайцы>

Боричка, ты не думай, что я без внимания оставила твой визит к А. О. и письмо. Я была совсем тронута. Но прошлое письмо хотелось поскорее опустить в ящик, вчерашнее задержалось. Женичку приучаю уже к кашке, желудок не образцовый, но гораздо лучше и один или два раза. Опухоль с личика тоже прошла, немножко облупилась кожа и тоже выросла новая, но волнениям моим, конечно, конца не видно, дай Бог, чтоб они кончались только благополучно – сегодня вечером собралась его купать, а он пришел с гулянья, расчихался, потекло из носика, измерила температуру 37,7 в заднем проходе, значит, немножко повышена, верно, ветром продуло, когда он разогрелся ото сна. Ветер тут только изредка спать на ночь ложится (потому что место совсем открытое).

Сейчас мне грустно, и я не прочь поплакать. Вечер тихий, в окно светит луна, мне нездоровится, ж<ивот> б<олит>, потом прошлую ночь не выспалась. Сегодня соседи, снимая группой всех ребят, сняли и Женичку, как он тихо улыбался и важно сидел между ними на моих коленях, жаль только, что крохотным аппаратом, получится ли. Вообще он все время тянется к детям, смотрит, как они играют, тянется и просит у них мяч, что-то им говорит своим непонятным щебетаньем. Он видит поезд, следит, как бегут вагоны. Я несколько раз окликала его сверху, и теперь, гуляя, он иногда подымает головку и смотрит, ищет меня, и если видит, смеется и делает у-у-х или у...

Крепко тебя целую. Спокойной ночи.

Где же Мариечка и Дмитрий. Вообще, что делается в Москве. Приняла ли она уже летний, пыльный и опустевший вид. Мне кажется, что ты на многое в моих письмах не ответил. Может, только кажется.

Всего хорошего.

Дорогая мамочка, я не буду оправдываться, я свинья, свинья и свинья. Я не отвечала на все ваши полные сердца и заботы письма, дорогая, ласковая, серебряная. Но, но мне так было

трудно и так все время хотелось спать. Плакать и спать, кажется, это были мои преобладающие настроения, плакать от усталости и беспомощности и спать. Мне очень не повезло с прислугой, на то, чтобы сварить суп и котлеты, у нее уходило по 5–6 часов, на стирку 6 пеленок 2–3 часа, а я день и ночь была с Женичкой, волнуясь и дрожа от каждого крика, да еще покупки и заботы всякого рода. Когда же я вздумала ее отправить, она не ушла, слезами, угрозами говоря, что ей некуда деваться и что пока она не найдет *хорошей* службы, она не уйдет. Боря не хотел скандала, так она и осталась еще и после моего отъезда.

Теперь мне легче. Правда я здесь живу одна, то есть не с мамой, наши все в городе. Папа серьезно заболел, опухоль какой-то железы над мочевым пузырем плюс сердце плюс ревматизм, почти сплошь все время хворает, лежит в кровати, и раза по три в неделю бывает врач...

Но так нужно было, надо было и мне быстро и сразу уехать из дому и Боре остаться одному. Женичка с виду большой и здоровенький, но так как я сама с ним возилась и очень волновалась при малейшей простуде и нездоровьи, то думаю, что я его изнежила, думала, что с лета я его приучу ко всякому, но лето плохое, холодно и сильный очень ветер, сегодня ночью хлопали закрытые на задвижку окна и двери, и гудела крыша, и в комнате было 12 градусов, так что он еще без пальто и без теплых пеленок на дворе не был. Беспокоит меня, что у него еще нет зубов, ему 23-го исполнится 9 месяцев, и сам он еще не садится, прикармливание я тоже еще не наладила, потому что недели три, как у него расстройство желудка, и приходится его выдерживать на грудном кормлении. Я пошла все свои горести выкладывать. Даже моя мама не перестает меня ругать, что я так волнуюсь и в шутку говорит: “Ну Женичка, хватит тебе толстеть, пусть теперь мама потолстеет”.

Не снимала Женичку тоже потому, что знакомые все подвели, а нести к фотографу было и боязно и холодно и некогда. Думаю, что скоро сниму. За Ваши чудные ласковые письма и заботу обо всех нас большое-большое спасибо.

Крепко Вас целую.

Жоничку и Федю крепко поцелуйте. Какой папа, какой молодец – поехал. Ах, ни у кого, ни у кого из нас, молодых, нет и маленькой доли его талантливости и энергии, его любви к жизни.

Это все черновик письма твоей маме. Ух, Боричка, какой холодный ветер, сегодня – законопатила в спальне дверь тюфяком и ковриком, а то скатерть на столе и простыни надувались как паруса. Дело в том, что наш верх это постройка из досок, короче говоря, чердак, где здорово продувает. Вниз переехали, и в нашем тихом садике стало очень шумно, человек 10 детей, целый день носятся, обломали всю сирень *etc.*

Ах, Боричка, как хороши всегда новые места на глаз, когда видно только столько, сколько в глаза бросается, потому что потом обижает незначительность и убогость пространства. Так как сегодня очень холодно, то Женья с Феней были дома, а я пошла побродить и нашла на замечательное место в так называемом парке. Дорога укатанная песком, справа огромные сосны и ели на ярко зеленом светящемся ковре, слева поля, железная дорога, в стороне за кустами на пригорке кладбище. Помнишь, Боря, каким хорошим показалось нам место, где так скучно стало, когда там поселились отдыхающие.

Чудно – чем больше людей, тем мертвее. Спокойной ночи.

Вложенный черновик маминого письма к бабушке Розалии Исидоровне с рассказом о трудностях московской зимы и дачных волнениях дополняет наш комментарий ее собственными свидетельствами.

19. VI.24. <Москва>

Дорогая девочка, жена моя и друг! Ведь у меня нет никого родней и лучше тебя на свете, не исключая сестры и отца и Марины. Я не могу видеть тебя как-нибудь иначе, чем поражающе светлой, потому что это чувство не освещать не может. Когда же я перестаю видеть тебя в воображении, и *думаю* о тебе, то и в угашении справедливой мысли ты выходишь из ее скупых границ, и волнуешь качествами, невысказанными ни у кого другого. Когда я вспоминаю, что ты не любишь меня, то тут же порывисто и возмущенно взвизгивает твой образ, любящий и преданный, верный тебе во весь рост, с головы до ног тебя повторяющий. Это – ты, живая ты, но до боли связанная со мной, видящая, слышащая, понимающая меня. И почему бы тебе с этим образом спорить? Нет такого недостатка, находимого мыслью в тебе, из которого бы ты в следующее же мгновение не вырвалась и не выросла на ее глазах.

Это оттого, что чувство, которому бы следовало обратиться к моему воспитанью, не отрываясь воспитывает твой образ. Я сильно люблю тебя.

Эти четыре слова с такой стремительностью и силой оторвались от письма, что пока я наносил их, они были уже неизвестно где. Они прозвучали страшно далеко, точно их пронесли в Тайцах. Они пронесли мимо меня физически заметные, и потрясающим действием обладала именно их неожиданная и мгновенная самостоятельность.

Неужели есть сейчас, в этот самый миг, темная, нечитанная мною местность, где у подошвы огромной снегами грезящей ночи, полосую лампою деревья, в их гуще, камушком на краю большого поля белеется твой двухэтажный домик! О какая ты бесстрашная в своей заметности, в добровольности принятых размеров, в невооруженности против тишины пространств и времен, точно знающих, где ты, и всем небом льющихся в твои глаза и уши, между тем, как – жизнь моя, ты согласилась быть женщиной и человеком, то есть быть еще меньше, чем домик, почти теряющийся на горизонте со стороны поля, когда оно напрягаясь всею темнотой простора, тихим ветром на рассвете тянет тебе в лицо, и не видит тебя снизу, и утомляя сердце и глаза, дремлет и просыпается, коротает долгую зарю, а потом увидит, ты встаешь кормить мальчика и, может быть, подойдешь к окошку.

Ты для меня сердцевина этой сказки, страдающее и свежее ее зерно в душевной и двойственной скорлупе: скорлупою должна была бы быть природа, как ее чувствует поэт, скорлупою стала колтунная, свалившаяся, окостеневшая пыль и паутина. О мне кажется, что этот слой распался сам собою. Я тебя добываю из ночи, из собственных гаданий и надежд, из предположительных и призрачных картин, вызываемых звуком Тайцы, я добываю тебя из всего этого, как вынимают орех из пышной оборчатой и плотно сжимающей его обкладки, на пути к тебе, чтобы достать тебя, прижать к сердцу и причинить ему излюбленную его боль. Перетрогаешь чуть ли не весь мир, ты мне упорно трудно достаемся, ты возрождаешь меня.

Слава, слава тебе, мое счастье, волна моя, заливающая глаза мне. Гордись, смейся и плачь, красуйся, не обращай внимания на меня и не уходи. Отсутствуй как бог, и как бог будь при мне. Отсутствуй, распростертая рядом, раздетая человеком с твоим кольцом на безымянном, но раздетая им так, как раздела бы тебя рука счастливейшего твоего воображения, или раздела горячая летняя ночь, как раздевает воспоминанье, – отсутствуй, раздетая мною, потому что недостижимое отсутствует, а ты – предел и выше высокого и лучше лучшего, лежи закрыв глаза, не гляди на меня и не знай, что я есть, когда я тебя боготворю и целую.

И будь всегда и вечно со мной, холодное мое небо, мечтающий нерв, бессонная жилка лесов и полей, когда они в цвету. Мы оба ходили высоко, откуда все видно, где невозможно скучать, когда сошлись с тобой, прелесть, прелесть, прелесть. О только оттого, что у нас имелись адреса, родители, родные, друзья и обязанности, кольцом обступившие два пустых

кружка на земле, могло казаться, что нашего существования мы не прерывали. Мы держались на окружении, придававшем геометрический смысл пустоте.

Что делали кругом нас люди и обстоятельства битые эти два года? Искали ли они исчезнувших на тех местах, где их привыкли встречать? Или это они толпились на двух могилах? Как же смели они улыбаться нам. О родное мое в горле вставшее имя, о девочка с Евгеньевской, о жена моя, о моя надежда и любовь, о волна, о глубина, о смех, в который я сейчас брошусь, о милосердие, в которое я нырну, о гордая моя ширь, умница, губы, волосы, плыву, люблю, люблю, люблю!

Станем и будем, умоляю тебя. Мерзкое время, ведь во многом виновато оно. Странно подумать, оно мешает желать счастья, есть эгоизм, который внушен богом, как легко забывается его полный, отдаленно трепещущий гул, когда ты с людьми.

А какое людское время! Но приложим усилия. Веруй, моя родная. Ты знаешь, это мое “ты”, что я говорю тебе, оно так непривычно и так волнует! Знаешь, какое оно? Словно оно вторую неделю, насильно сдерживаемое, взрывом вылетает из принятого будто бы между нами “Вы” и содрогается, позволив себе такую смелость и не в состоянии отказать себе в ней.

Кастрюли, червонцы и ссоры, какая неслыханная фамильярность! Как мог я себе позволить такое панибратство с тобой. О как мне хочется сейчас до последних закоулков договориться! Моя любимая подруга, даже Гулюшкой или ведьмочкой я тебя больше не буду звать. Твое имя (Женя ли? или санскрит? или час ночи, место на земле или имя чувства?), твое имя сейчас равно жизни моей, ты его смогла бы прочесть в глазах моих, я буду называть тебя силою взгляда, отяжеленного тобой, нет правда, я говорю серьезно, я даже при людях буду поднимать голову и целовать тебя тягой зрачка, и этот выделенный миг будет звательным падежом, обращением, обращением *только к тебе*, к тому, что остается, когда снято за платьями и все, ношенное в жизни и изношенное ей.

Больше не могу. Милая, мне невесело живется тут. И я не жалуясь. Я так счастлив тобою, – не прерывай меня, я знаю, что ты скажешь, но ты знаешь, что я отвечу тебе, а отвечать я покамест не могу, я дал слово. Кому? Себе, себе, тебе в душе моей, кому же еще. И у меня есть просьба к тебе. Выйди одна с этим письмом куда-нибудь на поле, на лесную опушку и перечти его. Наверное, оно скверно написано, но сердце так бушевало у меня над ним, что если это как-нибудь не сказалось в нем и не передается тебе, то о чем же еще тогда говорить!

И тут хотелось бы кончить мне и лечь спать (хотя время послеобеденное), чтобы увидеть во сне поле и тебя, но надо еще что-то сказать, потому что так, как я зову тебя теперь, мы еще не жили, и тебе молчанье мое может казаться забывчивостью или упущением. Я так боюсь судьбы, что не решаюсь ни об одном из дел тебе рассказать, пока они не станут фактами свершившимися. Радость, радость моя, каждую минуту приливает к сердцу нежность к тебе и становится мучением, совершенной невозможностью разговор о деньгах, о планах. О Боже.

Нигде в Москве денег нет. По жестокой случайности я, уже заполнив переводной бланк и имев 5 червонцев для тебя, их не послал. Вот как это случилось. В два часа дня я в центре (на Театральной площади) чуть получил их, пошел в почтовое отделение тебе их отправлять. Говорят – перерыв до трех. Спрашиваю, как в Главном почтамте, смутно помня, что кажется там присутствие без перерыва. Говорят, что перерыв и там. На этот час, не зная куда деваться (и какая жара!) забираюсь к Гите. Сижу, сижу, слушаю, что-то говорю, удивляюсь, что Гита это слушает, отсиживаю перерыв. Между прочим узнаю, что ты сильно нервничаешь. С Нюниных слов Гита говорит, что как-то ты от меня письма ждала и его не было и ты плакала. Я разумеется не только (из понятного тебе чувства) решительно принимаюсь отрицать возможность этого, но и в душе-то мало этому верю, и страдая, что это все же не так, мысленно говорю тебе по-английски *Keep your feelings*, что значит, прячь свои чувствования,

а то живо по бабьей улице пойдет, и вот, наконец, иду на Почтамт, пишу бланк, направляюсь к стойке, чтобы деньги сдать и узнаю, что только что прием кончился, и пока я у Гиты сидел, деньги принимали, работая без перерыва. Ну что ж делать, отложил на утро. И тут началось.

Надо ли говорить тебе, что для себя я к деньгам твоим и не прикоснулся. Но это оказался последний день взноса подоходного налога. Если не внести, то позднее – в двойном размере. Потом няня, наконец, ушла. Но слушай, я из-под земли их достану и завтра тебе пошлю. И давай простимся, а то я разревусь от тоски по тебе, от веры в счастье и бед, и неудач.

Весь твой Боря.

Как все-таки жалко, что плакать от отсутствия моих писем ты не можешь.

Женичка моя, Женичка моя, Женя, это ведь я объяснение тебе написал. Боже, что со мной!

<20 июня 1924. Москва>

Милый друг! Мне так тяжело, так тяжело на сердце, словно ты в слезах отчего-то, словно я тебя чем-нибудь огорчил. Это оттого, что вчера написал я тебе письмо, в которое вложил всю душу. Я писал тебе и сидел на окне у тебя, и гуляли мы, и садились по дороге отдохнуть и поговорить. Это таким водоворотом вошло в мой день, что я ждал чудес, чего-то вроде апельсинового дождя над землей, или крылатого ангела в дверях, несущего на руках тебя, или чего-нибудь еще чудеснее.

Вместо этого я столкнулся с кристаллически сволочными фактами, которые всегда меня так возмущают. Это из такого разряда явлений, которые волнуют своим тупоумьем и бесцельностью. Вдруг представители того или иного вида закона требуют с тебя таких вещей, которые доказывают, что вместо тебя они понимают кого-то другого. И особенно оскорбительно это было в день, когда с неба должны были дождем падать апельсины. Зачем они это делают, я никогда не уступал им, не получают они с меня ничего и теперь и верно удовлетворятся этим. Но к чему эта их потребность в спорах, в разоблачении чепухи и в бесплодной трате времени. О бездарная, бездарная посредственность, прирожденная могильщица, призванная отрывать человека в редчайшие минуты от живейших мыслей и дел.

Кажется ведь Микобер (телячьи котлетки в “Крошке Доррит”) без ума был от своей Микоберши? Неужели я, того не замечая, уподобляюсь Диккенсову герою? Но это сравнение ввела ты. Я тебе этих неприятностей (их несколько) не называю.

Говорю же я о них потому, что удивительно складывается мое огорчение. Я тебя так сильно теперь люблю, что все, что со мной делается, отношу к тебе. Точно я душой и телом твой, и когда больно телу или печально на душе, я страдаю за урон, причиненный твоей собственности. Я не могу отделаться от нелепой мысли, что если мне грустно сейчас, то тем более грустно тебе. И людей, досадивших мне, я ненавижу, как твоих мучителей. Знакомо ли тебе это чувство, оно отличается такой определенностью. Словом, я не знаю куда деваться от того, что так огорчают *тебя* и не дают денег, и требуют их с *тебя*, и не восхищаются твоим *имуществом*, и не прощают ему ничего. У меня *настроение* лета 17 года⁸⁵.

Но странно, вот что я тебе скажу. Только оттого и строится мое прозябанье в средние поры по форме настроений, что в лучшие времена бывают у меня настроения почти метафизической значительности, то есть такие, *которые делают меня в сильнейшей степени доступным действию того*, что ты называешь причинами. Так оно и сейчас. Я до боли

⁸⁵ Лето 1917 года, когда писались стихи “Сестры моей жизни”, было для Пастернака определением творческого вдохновения.

размечтался о тебе. Ты неописуемо хороша в моей мечте и в нескольких разрозненных и отдельно стоящих воспоминаньях. Я горжусь тобой. – Высотой требований, которые предъявляет твое существо, как краска свету, для того чтобы существовать. Ты можешь быть и не быть. Вот ты есть, и я души в тебе не чаю, заговариваюсь тобой и ты требуешь все большего и большего.

Назвать ли мне точно то счастье, которое я себе обещаю. Ты убедила меня в том, что существо твое нуждается в поэтическом мире больших размеров и в полном разгаре для того, чтобы раскрыться вполне и дышать, и волновать каждую своею складкой. Ты была изумительным, туго скрученным бутонem, когда тебя уловили фотографии твоих детских документов и удостоверений Девичьего поля, и Станевич⁸⁶ и еще кто-то. Твоя сердцевина хватала за сердце тою же твердой и замкнутой скруткой, горьким и прекрасным узлом, когда быстро и беспорядочно распустившаяся по краям, ты имела столько рассказать о мастерских и о жемчужинке. Как рассказать тебе о том, что произошло дальше. Мне больно вводить в письмо все дешевые пошлости, которые приходится говорить о самом себе. Я расскажу как-нибудь на словах. Но если бы я просто покорился своей природе, горячо любимая моя, я бы ровным, ровным теплом самосгорающего безумья окружил тебя, я бы ходячим славословьем тебе бродил среди друзей и смешил их или тревожил загадочностью своего состояния, я бы недостижимую книгу написал тогда вместо одного того письмеца Кончаловскому⁸⁷, и бережно, лепесток за лепестком *раскрыл бы твое естественное совершенство*, но раскрывшаяся, напоенная и взращенная зреньем и знаньем поэта, насквозь изнизанная влюбленными стихами, как роза – скрипучестью и сизыми тенями, – ты неизбежно бы досталась другому.

О как я это знаю и вижу.

У меня сердце содрогается и сейчас словно это и случилось, от одного представления возможности того, и я тебя к этой возможности глухо ревную. Ты неизбежно бы досталась другому прямо из моих рук, потому что с тобою в сильнейшей и болезненнейшей степени повторилось бы то, что бывало у меня раньше. Я не боюсь это сказать, как ни смешно и жалко это признание на обычный глаз. Но этот глаз – предел пошлости, и, говорю я, глаза этого я не боюсь.

Тогда и началось это странное и смертельно утомившее меня прозябанье, при котором я стал учиться сдержанности, так называемому здоровью и, как это всегда бывает, от производного, от ассистентов перешел к руководящему, к основанию этой чуждой и вначале страшившей меня науки. То есть я стал стараться успевать в бесчувственности, в холоде, и приобретая объективность воззренья, стал переставать видеть тебя или видел искаженною, опороченною этим наблюдающим и судящим глазом. Я совершенно безбоязненно говорю тебе об этом и сейчас, в апогее смеющейся нежности к тебе, потому что это рассказ о моем горе, теснейшим образом связанном с тобой. Пускай все это было глупостью, вроде неизвестных мне Жониных тайн, но дело было сделано. Это делалось полгода, до 26-го февраля, и мои слова о смысле свершавшегося никак не отвлечение, то есть я не строю схем и не предаюсь их плетенью теперь, а наглядно вспоминаю свои состоянья и привожу решения и мысли, точно так же звучавшие и тогда.

В те полгода мне казалось необходимым отказаться от музыки и стихов, от мира, равнявшегося раскинуться над тобой и вокруг тебя волною поклоненья, постиганья и одухотворенного ухода, и как ни странно, я в этом преуспел. Размах этого горького и мертвящего усилия, развиваясь все дальше и дальше продолжал действовать и тогда, когда и мнимой, воображавшейся надобности в нем не стало. Те вещи, которые я с таким идиотизмом постарался

⁸⁶ Речь идет о времени обучения на Высших женских курсах и другие тех лет.

⁸⁷ Письмо от 1923 г. маминому учителю художнику Петру Петровичу Кончаловскому перед отъездом в Берлин.

усвоить, были усвоены. Лень, невнимательность, глухота, пониженность страсти душевной, ослабленность эгоизма и порывистости, все эти сокровища, вселяясь в меня, помогли инерции затянуться на чудовищный срок. Я пока говорю о себе. Я знаю, что с тобой сделалось. Но вперед покончим с этим.

Я опустошил себя неслыханно. Прямо хоть плачь. Я любил тебя так, как сейчас. Когда ты была у меня с Мишей⁸⁸, предчувствие и предвосхищение готовы были у меня политься с губ и с пера. О, не недооценивай последнего слова. Оно обладает могуществом, мало кому известным. Я знал, я мог сказать, как будет. Я вглядывался в тебя и убеждался, что в тебе очарования и действительных данных (души, талантливости и ума) более чем довольно, с лишком и с каким (!) довольно, чтобы эта неподвижная буря тронулась и пошла обреченно-круговым, до слез торжественным движением, хоронящим и отпевающим себя, как вращение неба. Я знал, что согрею и расправлю тебя, что ты вольно и без боли распустишься под бережным дыханьем поэзии, я знал, что ты ее и меня полюбишь, что *только* я буду тем единственным, кто не причинит ни малейшего вреда тому в тебе, что прекрасно и чем в тебе любитесь бог. Я знал, что это само себя подтачивающее обожанье способно стать вторым рождением для тебя, и конечно оно больше матери, нарочно данной каждому человеку богом, чтобы быть внимательной к тому, на что бог не обращает вниманья. Я знал, что ты полюбишь меня и скоро запечалишься и станешь недоумевать, узнав, что с этим перегретым и благотворным миром жить нельзя, что о нем Шекспиры пишут “Сны в Летнюю ночь” и не более того. Я знал, что, огорченная и оскорбленная, ты уйдешь от меня, отдохнувшая и оправившаяся на таком воздухе, вдсятеро прекраснее и моложе, чем была, с раскрывшимися на себя глазами, с душой моей и мукою на кушаке, как с дорожным подарком. К другим.

И тогда я предпочел ужаснуть тебя всеми пошлостями, которые были неизбежны. Я отмел весь мир, который хоть ценою страдания, но скрашивал смехотворность и стыд открывающегося. Ты поэзии и поэта не видала. Я спрятал их от тебя, а потом и прятать стало нечего. Ты не полюбила меня, ты не прибыла, не расцвела, не согрелась, не отдохнула, ты замерла, ты свернулась, ты вобрала и те лепестки, что трепетали и топырились на тебе, раскрывшиеся проще и хуже и болезненнее, чем твоя прелесть заслуживала, но все же раскрывшиеся, сложились и съжились и они, ты попала в полосу, когда раем тебе мог и должен был казаться Леонардо⁸⁹, но ты не ушла. Ты должна была бы знать меня таким, каков был я раньше, чтобы поверить мне, что превращение, случившееся со мной, твои страдания уравнивает.

О, Женя, что сделал я с собой. Для того, чтобы заморозить тебя, как это случилось, я должен был убить весь свой смысл. О теперь послушай. Мне гнусно и мерзит копаться в этом. Слушай, родная сестра моя по страданию, слушай самопожертвование, два года делившее со мною могилу, о скажи мне, может ли этот мир мне изменить? Верится ли тебе, чтобы я навсегда разучился жить стихами?

О, ведь это невероятно, ведь мне кажется, что возвращается этот мир. О любимая, любимая, где слова взять, чтобы сказать тебе, какими застает нас эта, кажется согласная возродиться, стихия. Если сказать не смогу, положи руку на эту часть письма, закрой ее, замени слова своими, лучшими, но улови смысл. Если я скажу тебе, что ты возвратилась к ранним воспоминаньям, ты рассмеешься. Если я скажу, что в моих глазах в напряженности пробуждения ты еще более затянутый, весь в будущем, тугой и плотный бутон, если я скажу, что *только* твоя девическая фотография жива в тебе, если я скажу, что жаркий и грезящий мир вниманья и постиганья налетает теперь на меня, чтобы взять *свое, ему принадлежащее, тебя*, чтобы выхолить, взлелеять, взрастить, зашептаться до смерти, заглянуть во все зако-

⁸⁸ Речь идет о Михаиле Львовиче Штихе, который приходил к Пастернаку с Е. В. Лурье в 1921 году.

⁸⁹ Имеется в виду Леонардо Михайлович Бенатов, сокурсник по ВХУТЕМАСу и мастерской Кончаловского. О неприятных отношениях с ним Евгения Владимировна упоминала в своем дневнике.

улки души и мира, если я тебе скажу, что эта первая действительная его любовь приходит ко мне, как к сторожу, и хвалит, что я сберег тебя на льду – о ради бога не смей смеяться тогда, о ради бога не смейся. Или ты вдруг вспомнишь о времени, о годах? Но не с ними ли попробовали мы ужиться по добру, по соседству. Время? Оглянись, и ты не найдешь его там, где на тебя из прошлого глядит печальное счастье. Ты его откроешь лишь в тех пустотах, по которым ходит скупая, разумная безотрадность. Что нам время. Упаковочный материал. У нас его не будет. Слушай ангел мой: жизнь, *моя жизнь* однажды выставленная мною за дверь, близится и возвращается ко мне. И за кем, думала ли бы ты, она идет? За мною? Ничуть не бывало. Она возвращается за тем, что ей принадлежало, в чем ей было отказано. За тобою! За тобою!

20. VI

Родная, родимая.

Тебя еще не тошнит от патоки, изливающейся на тебя? А я только сдал письма к тебе и деньги, и опять готов. И опять мне печально, и страшно за тебя, не грустно ли это тебе на самом деле, и только отраженно – мне. Большое настроенье нашло на меня, рыданье мое во плоти, и видя силу настроенья, я больше всего, – мне даже кажется больше действительного здоровья озабочен тем, не грустно ли тебе. Но зачем грустить тебе? Вертись, радуйся, бедокурь, – ты победила.

Ты шла по проезду Тверского бульвара, и вдруг потребность в поручнях, в наплечниках, в большой страсти, объявляющей тебя арестованной и берущей в железа, остановила тебя и преградила нам дорогу. С порывистою уклончивостью ты повернулась, мы стояли на мостовой и рядили извозчика.

Как это всегда преображало тебя! Красавица моя, горячая моя девочка, сколько в тебе высокого благородства в эти минуты и грации и греции. Несчастный мальчик. Он не меньше любил тебя тогда⁹⁰.

Помнишь ты? Шел снег, это мы у Б. кажется были, на Смоленском бульваре.

Помнишь “Екатерину”⁹¹ в драматическом театре в страшный, страшный мороз? Помнишь чтение Пушкинских писем, чтение дальнейшей Люверс, диван поперек комнаты, прогулки по каркавшей надо мною зиме, пока там у меня, ты раздевалась. Ты, девочка моя. Ты – и наступал вечер. Жестокий, безысходный.

Но сердце было так полно тобой, твоей высокой аристократической простотой, твоей, – чертою самоубийства перечеркнутой близостью, что – клянусь, и тогда я был счастлив. Это счастье было похоже на снег и на сумерки, по этому счастью с карканьем носились вороны, под ним в другом городе и позднее, – чернелась Фонтанка, – но я дышал им – и все оно отдавало тобою. Я не меньше тогда любил тебя.

Помнишь? Давали Валькирию⁹², ты была в черном бархате, ты уже была моей женою.

Помнишь, что музыка делала со мною? Помнишь, как положила она мою голову к тебе на плечо и лилась и заливалась, там и на сцене.

Помнишь, как, когда Х. или мама удивлялись, отчего я такой грустный, как содрогался я от вопроса, как думал: да, они правы; о если бы они знали причину.

И теперь знаю я. Они не были правы. Причин теперь нет, а я пишу и плачу, как тогда (действительно Женя, плачу и утираю глаза, и дальше пишу), и как тогда люблю тебя. Нет, тогда еще я был нормален, как и сейчас. Тебя любить можно только сильно. Сильно любить

⁹⁰ Имеется в виду Михаил Львович Штих.

⁹¹ Спектакль по пьесе Н. Н. Лернера “Петр III и Екатерина II” в Русском драматическом театре Ф. А. Корша.

⁹² Опера Р. Вагнера в Мариинском театре.

значит любить по-гречески, по-христиански, под трагедию, под орган, под жизнь, посвященную Гофмановой сказке, заряженному грозой стиху. Помнишь вдоль канала, над санками крупно-кружевную вырезную раму из белых, заиндевевших жестких берез и вязов и черносинее небо и лебяжью гладь снежного пути. Помнишь, как в эту ночь в Петроград пришли поглядеть на тебя улицы, которых в нем никогда не было, и пропустив наши санки, убирались откуда пришли, и за нашей спиной все приходило в порядок.

Помнишь, ночь в Серебряном Бору у Буданцевых⁹³, на полу. Помнишь другую, после длинного дня, когда ты вся была, как шиповник на сквере, окно вдыхало тебя, розовую, сквозную, неподвижно движущуюся, на грани беспамятства, сладкую, золотую. О Боже! Помнишь?

Потом была одна ночь в Берлине. Как это я не понял, что это все в тебе было, а не во мне? Но любил тебя я, и не знал, вся ли ты отвечаешь мне, как будто в этом чувстве дело, а не в “счастливой случайности” полной красоты, и вот, переоценив сердце и недооценив зрелища, я стал требовать у тебя абсолютной свободы для себя, господства. Помнишь? Знаешь зачем? Чтобы ночь осталась не единственной, чтобы еще не раз так тебя любить.

Бедная пятая страница. Несмотря на шиповник и Берлин, я не плакал над ней. Я не исходил над этими воспоминаниями кровью сердца, как над предыдущими. Странная мысль пришла мне в голову, тихая моя и далекая, – странная мысль. Тут аборты дотронулись до нашей судьбы и до твоего тела. Если бы это было у других, чем я и ты, людей, что бы это изменило? Тут не только в болезненности твоей суть.

Но не следовало ли уже и тогда нам впустить капочку к себе? Прямо за валькириевыми улицами? А? Да, разумеется, вина моя. Надо было быть сильнее и смелее. И вот, мы несли наказание за малодушие свое, за то, что —, за коммивояжерство. Несли два года. Это было низостью с моей стороны.

Ты говоришь, что я не на все отвечаю в письмах. Я слишком слушаю и люблю их, чтобы понимать их отдельные мысли. Ты чудно пишешь. Вероятно я только подражаю тебе. Ты шевелишь словами и фразами, как ветер занавесками, ветвями деревьев. Я читаю твое письмо и слышу, – Женичка веет, тянет, дышит.

Я закрываю глаза и отвечаю встречным дуновением. Зачем говорить, что подражаю тебе. Нет, это и у меня прирожденное. Я три раза перечитывал твое письмо. Помню место в парке, чердак, желание плакать и спать в письме к моей матери, то что она серебряная (а ты золотая).

Помню поразительную преисполненность молодой матери ребенком, которого она носила в животе, а теперь осуждена носить в земном полушарьи. Я перечту его и опять впаду в забытие, в полубоморок по отношению к частностям, – это и есть прямой на них ответ – как полусон ответ на пенье петухов, на их ступенчатое, поочередно удаляющееся кукареканье. Для того, чтоб точно ответить тебе, мне пришлось бы письмо переписать и разграфить, как с Абрамом Осиповичем. Ненаглядная моя радость, неужели не найдешь ты ответов на все в этих последних письмах?

Как отвечать тебе, когда твои письма действуют на меня, как летний вечер? Мне иногда слышатся вещи, которых ты не писала. – Пыльная ли Москва? Не так, как в прошлом году. Введена обязательная поливка. Петровские еще тут, – денег нет, как и у всех.

Спокойной ночи, мой вневременный друг. Горячо, всей жизнью и смертью своей тебя люблю. Поцелуй капочку и не мытарь себя так из-за него. Вспомни, что и я в нем представлен, не ты одна. Значит он твоих жертв не заслуживает.

Все, к кому меня не несет поэзия и природа, кажутся мне случайными.

⁹³ Писатель Сергей Федорович Буданцев (1896–1938) и его жена поэтесса Вера Васильевна Ильина (1894–1966).

Посылаю тебе деньги. Это письмо пробеги хоть при всех. С другими уйди куда-нибудь одна. Они плохи тем, что страшно длинны.

Ты заскучаешь, их читав. Ах, я об этом не подумал вовремя. Но теперь поздно. Не читай их тогда сразу. Я дрожу за их судьбу, словно познакомился с тобой и написал тебе объяснение. Ужасно волнуюсь, ты не поверишь. Что со мной делается? Я умопомрачительно люблю и предан тебе.

Гляди на меня, если хочешь с любопытством, но не разрушай естественности движений временным недоверьем. Пожалуйста, умоляю тебя, ты ведь мне дороже, чем сама себе.

Я хотел послать тебе такое письмо, которое бы ты на себе носила, которое бы тобою пропитывалось и мучилось, когда тебе жарко. Я хотел набрать тебе полосатого (в дымно зеленую по белому полосе) маркизета и хорошо (в желтую бумагу, вот образец) завернуть и запечатать лиловым сургучом, огромною слезой темного расплавленного обожанья (не маркизет, Боже упаси, а обертку) – но – как – мы – бедны! Не придется. Я думал 6 червонцев достану, 5 тебе, а 1 себе, на полосатое письмо к тебе, для нательного ношенья.

Достал только 5. Не четыре же тебе посылать. Так что дымчатое письмо дошло, когда можно будет. Ангел мой, как я – — — ну – — —!

Люблю.

Боря.

Прости, что такой маленький образчик бумаги⁹⁴. Надо же для конверта оставить. Чудная, чудная моя, правда мы бедные и золотые оба? Ам-м.

О Боже мой!

Любушка.

Поблагодари маму за письмо, которое в данную минуту подали, я его еще не читал. Также и от тебя, с черновиком к моей маме. Но надо скорей ехать Гите передать. Хочется мне заказные по почте послать, но ведь заждешься ты тогда!

Эти письма были переданы с маминой сестрой Гиттой, которая ехала в Ленинград к родителям, и сильно задержались в пути. Они были надписаны на конвертах как “Заказные № 1 и № 2” и заклеены сургучом. Их опоздание вызвало целый поток удивления и упреков.

Лирические страницы любовных объяснений в этих “заказных” подчас перекликаются с уже написанными стихами, повторяя и уточняя встречающиеся в них сравнения и ассоциации и тем самым приоткрывая основы построения поэтического мира Пастернака. Мы упоминали ранее образную близость одного пассажа со стихотворением “Чирикали птицы и были искренни”, а слова: “широко, замедленно долго, беззаветно и безотчетно, как глубокую и большую реку держу тебя в руках и дышу тобою” – из письма от 27 мая, невольно напоминают стихотворение из “Сестры моей жизни”: “Лицо лазури пышет над лицом / Недышащей любимицы реки”. “Потребность в поручнях” страсти, “объявляющей тебя арестованной и берущей в железа”, соотносится со стихами из “Поверх барьеров” – “Вслед за мной все зовут вас барышней, / Для меня ж этот зов зачастую, / Как акт наложения наручней, / Как возглас: я вас арестую”. Позже этот образ вновь появился в “Охранной грамоте”, в том месте, где речь идет о марбургской влюбленности в Иду Высоцкую: “...вне железа я не мог теперь думать уже о ней и любил только в железе, только пленницей”. На следующей странице письма к маме слова: “Полусон – ответ на пенье петухов” вызывают воспоминания о бессоннице и утренних петухах из “Отрывка из поэмы” 1917–28 годов и недавнее стихотворение “Петухи” из цикла 1923 года.

⁹⁴ В конверт вложен кусочек светло-желтой папиросной бумаги.

Здесь же мы встречаем образ из стихотворения “Я вишу на пере у творца / Крупной каплей лилового лоска”, вошедшего в “Темы и варьяции”. Заметим также, что соседство светло-желтого и темно-лилового было любимым у отца сочетанием цветов. В таком оформлении вышла книга “Темы и варьяции”, в приверженности этим цветам он признавался в письме от 2 августа 1959 года к Жаклин де Пруайяр: “Это был темно-лиловый (почти черный) цвет в сочетании со светло-желтым (цвета чайной розы или кремовым)”⁹⁵.

Из светло-желтой бумаги, судя по его словам в письме маме, был им склеен конверт, запечатанный “крупной каплей” лилового сургуча и отправленный в Ленинград с Гиттой. Этот конверт не сохранился, но следы сургуча видны на двух других, посланных в это же время.

Удивительны переданные несколькими штрихами картины первых месяцев их знакомства и близости, потом всегда встававшие перед отцом во время маминых отъездов. Он писал об этом летом 1926 года в письме к Цветаевой:

В разлуке я ее постоянно вижу такой, какую она была, пока нас не оформило браком, то есть пока я не узнал ее родни, а она – моей. Тогда то, чем был полон до того воздух, и для чего мне не приходилось слушать себя и запрашивать, потому что это признание двигалось и жило рядом со мной в ней, как в изображеньи, ушло в дурную глубину способности, способности любить или не любить. Душевное значенье рассталось со своими вседневными играющими формами. Стало нужно его воплощать и осуществлять⁹⁶.

В летних письмах 1924 года звучит лирический порыв, который отец приравнивает к “настроению лета 17 года”. Это было лето его любви к Елене Виноград, выливавшейся стихами “Сестры моей жизни”. Оно стало для него обозначением высоты поэтического вдохновения. Но “напоенная и возвращенная зреньем и знаньем поэта” Елена вскоре вышла замуж за другого. Трагедия оборотной стороны любовной поэзии стала для отца тяжелым уроком, которого он суеверно избегал в своих отношениях с мамочкой. В этом приучении себя к сдержанности и бесчувственности “так называемого здоровья” он увидел причину того, что мама не сумела почувствовать в нем поэта и поверить ему. И теперь ему внезапно показалось, что заглушенный в нем мир поэзии и музыки возрождается и готов его возродить.

Но вдруг испугавшись своих восторгов, отец вспомнил о влюбленном в свою жену герое Диккенса мистере Микобере, о котором они вместе читали в Берлине. Ошибка соотнесения персонажа романа “Давид Копперфильд” Микобера с “Крошкой Доррит” объясняется тем, что Микобер сидел в долговой тюрьме, подобно семье Доррит. Сравнение себя с Микобером отец приписывает маме, вместе с которой они читали Диккенса в Берлине. Микобер тоже, как и они, испытывал денежные затруднения, но вследствие “эластичности” своего характера это никогда не мешало ему весело уписывать по вечерам свою телячью котлетку.

23. VI.24. <Москва>

Мне казалось, что я тебя скоро увижу. Эта мечта, которую я от тебя скрывал, определяла все мои письма. Когда она мне казалась сбыточной, я писал тебе с кажущейся небрежностью и наспех. Когда осуществимость ее становилась сомнительной, мои слова к тебе наполнялись мыслью и кровью. Все силы соединились в последние дни, когда я стал запечатывать письма сургучом. Сила надежды и сила отчаянья. Я видел тебя ясно перед собой и почти уже знал, что не скоро увижу.

⁹⁵ ПСС. Т. 10. С. 514.

⁹⁶ Из письма к Цветаевой от 11 июля 1926 г. ПСС. Т. 7.

Теперь, когда невозможность близкой нашей встречи стала достоверною, я раскрываю тебе свои карты. Мне сейчас уезжать не только не на что, было бы непозволительно легкостью по отношению к тебе поддаться чувству, и побросав дела, когда они только завязываются, оставить Москву.

Как я тут живу? Охочусь за мелкою дичью, — о суммах больше двух-трех червонцев даже заикаться не приходится. Однако все уладится, обойдется. Сегодня утром сидел у Мещерякова⁹⁷ в Гослитиздате. Окна комнаты выходят во двор. Внизу визжал, рокотал и заливался точильный камень. Каменная коробка подхватывала и удесятеряла этот скрежещающий гул и кабинет редакционной коллегии был им полон. Мне было трудно говорить с заведующим, так как временами я терял уверенность в том, что отвечаю человеку, а не камню. Вероятно завтра внизу точить ножей уже не будут, и я опять туда пойду. Может быть переговоры приведут тогда к лучшим результатам. Сплошь и рядом слышишь и узнаешь много лестного для себя, но все это ни в малой мере не уравнивает вражды, которая живет ко мне в разных углах и закоулках, а также не смягчает и опасности, заключающейся в утрате полного голоса, в возрасте, во власти парализующих безотрадных мыслей и тому подобном.

Я даже не столько утерял свой тон, сколько добровольно от него отказался, не сразу, правда, но путем ряда уступок обстоятельствам и духу времени, на взгляд которого мои особенности и впрямь должны казаться чудными, оскорбительно ничтожными, обидно “сверхчеловеческими”.

Но полно об этом, тебе скучно станет, этой песни ты вдоволь насышалась. Я надеюсь на тебя. Я надеюсь на какую-то твою помощь, но ближе оформить этого смутного чаянья не берусь.

Иногда мне кажется, что вдруг на этой неделе я получу что-нибудь от тебя, чего получить не привык, когда же я пристальнее всматриваюсь в это ощущение, то нахожу, что я просто жду очередного твоего письма, что и предшествующие твои письма были непривычны, что непривычна ты, что я привык к необычности и ею избалован. Слабых *напоминаний* о тебе не бывает. Тебя подсказывают всегда внезапные и острые ощущения неудовлетворенности, — среди людей, за работою, на улице, в учреждениях.

Обедая в Кубу, я часто встречаю множество милых людей из литературного, критического и историко-словесного мира. Сюда с Кавказа приехал Вячеслав Иванов и остановился в Доме ученых. Он собирается за границу, в Италию. С ним очень славный мальчик, его ученик, в морской форме⁹⁸. За супом и котлетами часто вижу с Майей (помнишь, с волосатым Ланном⁹⁹ однажды приходила приятельница Эренбурга, настоящее ее имя Мария Павловна Кудашева¹⁰⁰). Она простая и по-хорошему экспансивная женщина, пишет французские стихи и состоит в переписке с Роменом Ролланом и Анри де Ренье¹⁰¹.

Вера Оскаровна (жена Анисимова¹⁰²), уехала в Крым, в Коктебель, к Волошину, куда перебралось пол-Москвы. Она давно собирается написать статью о моих книжках, я должен был их занести к ней в канун отъезда, зашел, но разумеется без книг, пообещал на другое утро, не сдержал обещанья, пообещал надослать Сестру и Темы по почте и тогда обнаружил, что у меня ни одного, и своих экземпляров не осталось. Там же и Андрей Белый.

⁹⁷ Николай Леонидович Мещеряков (1865–1942), главный редактор Гослитиздата.

⁹⁸ Моисей Семенович Альтман (1896–1986), специалист по античной литературе, записал свои встречи с В. И. Ивановым в Баку и Москве (“Разговор с Вячеславом Ивановым”. СПб., 1995).

⁹⁹ Переводчик Евгений Львович Ланн (1896–1956), друг М. И. Цветаевой.

¹⁰⁰ Мария Павловна Кудашева (Майя Кювилье, 1895–1987), поэтесса, впоследствии жена Р. Роллана.

¹⁰¹ Анри Франсуа Жозеф де Ренье (1864–1936), французский писатель.

¹⁰² В. О. Станевич (1890–1967), поэтесса, жена поэта и художника Юлиана Павловича Анисимова (1889–1940). Ее статья о стихах Пастернака написана не была.

У Марины Цветаевой есть сестра Анастасия¹⁰³, после вечера, на котором я читал Марины стихи, она мне позвонила, прося позволения познакомиться со стихами, у ней почти все собрано, написанное сестрой. Я у ней бывал несколько раз, теперь она в санатории в Болшеве. Она большая умница. Она сама писательница, только прозу пишет. У ней две книги напечатаны, в характере дневников (вроде дневника Марии Башкирцевой¹⁰⁴). Третью, афористическую, собрание хороших и образно сложенных мыслей она предлагала Современнику и в рукописи дала мне почитать. Она заряжена долей взрывчатости, дарования и темперамента, как и сестра, и вероятно была хороша собой, что у нее и сейчас еще в голосе и в улыбке осталось, но они очень рано начали жить и жили не щадя себя и очень бурно. Теперь она ударилась в набожность и смотрит как на грех, даже на поэтическое творчество Марины. Она с большим треском и красноречьем возражала мне на самые скромные мои утверждения. Я никогда не встречал человека, который бы быстрее, увереннее и утомительнее говорил. Ее фразы раз в десять длиннее моих, и при этом она ухитряется не растерять ни одного из членов предложения.

Как-то случилось, что были у меня Ланн (друг Кудашевой), потом Антокольский. В Ланне есть что-то отталкивающее. Антокольский очень настоящий человек, с подлинным дарованием, голосом и глазом. Жалко, что он ничего не пишет, то есть я говорю о лирике и вообще о литературе. Он занят театром. Он написал для третьей студии пьесу по трем романам Уэльса¹⁰⁵. От Уэльса там очень немного осталось. Есть энергические и даже вдохновенные места, но в общем он лучше мог бы. И затем я не понимаю, как, говоря о “Машине времени” или ею пользуясь в заимствованиях и переработках, проходят мимо того, о чем я в темноте однажды у тебя на Рождественском в передней говорил одной Шуриге¹⁰⁶, потому что я не тебе, а *тобою* говорил.

В нашу семью (Мясницкая, Петровский)¹⁰⁷ вошел новый человек. Это Н. Тихонов. Ему моя “Высокая болезнь” не нравится. Он тут читал нам прекрасную вещь, которую отказывался принять Казин¹⁰⁸ (Красная Новь). Он раза два был у меня, по утрам. Радость видеть такого человека. Он единственный, с кем я говорил о тебе. Тогда он преобразился, полез в кармашек своей куртки военной, порылся, помычал, ничего не нашел, что-то пробормотал ничего не сказавши. Это было в первое посещение. На другое утро я просто спросил его, нашел ли он карточку жены.

Он звал к себе, я объяснил ему, что нужно для того, чтобы мне попасть в Петербург. Просил кланяться тебе, как давно мне это поручили Петровские, Брики, Асеевы и Маяковский, постоянно о тебе спрашивающие.

Тебе наверное не нравится это письмо. Как сделать, чтобы жизнь была непрерывно наряженной и напоенной звуком? Как тягостны эти срывы в пустые часы, часы, дни недели. Неизбежны ли они?

Весь твой Б.

¹⁰³ Анастасия Ивановна Цветаева (1894–1993), у нее к тому времени вышли два сборника прозы “Королевские размышления. 1914 год” (1915) и “Дым и дым” (1916). В 1920-е годы ей ничего не удалось издать.

¹⁰⁴ Мария Константиновна Башкирцева (1860–1884), художница, автор книги “Дневник Марии Башкирцевой”.

¹⁰⁵ Третья студия – первоначальное название театра им. Е. Б. Вахтангова. Пьеса Антокольского не была поставлена.

¹⁰⁶ Художница Полина Шуриго, подруга Е. В. Пастернак по харьковской школе.

¹⁰⁷ Имеется в виду ЛЕФовский кружок, собиравшийся у Бриков в Гендриковом переулке на Мясницкой, 29, куда входил также Дмитрий Петровский.

¹⁰⁸ Поэт Василий Васильевич Казин (1898–1981) заведовал отделом поэзии в журнале “Красная новь”. Поэма Николая Тихонова “Лицом к лицу” (1924) была опубликована в альманахе “Недра” (1925. № 6).

25. VI.24. <Москва>

Моя дорогая, тысяча лиц, виденных мною сегодня, воздух, которым я дышал поутру, жизнь моя, еще верная мне, и которой не станет!

Итак все это неосуществимо. Несбыточна поэзия, недоступна и недостижима ты, и дозами, изматывающими своей микроскопической ничтожностью, расходуются силы, рассаривается мысль, расточается время. Оно идет, идет издалека, оно говорит, что так же точно шло и в твои ребяческие годы, так же и до тебя. У него есть доказательства своей дальней дороги и, когда обращаешься к ним, записям и воспоминаниям, становится жутко. Все они всегда моложе тебя, всегда в пыли, всегда обнаруживают поразительную музыкальность и поразительную изобиженность. Они оскорблены забвением и тем, что ими пренебрегли, оставили их, загнали в прошлое. Как же кончилась вдруг их порода! Неужели этого лета мы не будем когда-нибудь вспоминать. Как страшно. А я ведь будущее люблю только за то, что оно похоже на прошлое, что ему еще можно стать прошлым, что оно – как ребенок малый.

Вырасти из-под земли, откинь волосы со лба, будь тут, будь в руках моих, закинь голову назад, смейся, пойдем с тобой куда-нибудь, все равно куда, проведем день и другой, и это уже очень много. Как чудесно, что заработки так мало зависят от моего труда и что не в моем существовании нуждаются обстоятельства, чтобы щадить нас и поддерживать.

Я могу с полной беззаботностью обращаться с собою, думая о тебе, может быть, ты на моей смерти больше заработаешь, чем на этом омерзительном черствящем корпеньи.

И *на что оно*, чуждое мне, все сплошь – искаженность, поражение и отчаянье. Зачем обольщаться мечтами, по привычке преследующими меня иногда. Мира, в котором я был свинчен, приготовлен, выпущен и снабжен клеймом – не существует. Было сердце. Назовем его как угодно. Хоть болотным. Болото осушили. Просто вредно думать, чтобы оно билось и толкало поэтическую кровь на осушенном свете.

Оно ведь даже пузырей не пускает. В борьбе за существование оно пытается превратиться во что-нибудь из того, что его окружает. Но его способность к оборотничеству сомнительна. Его окружает жестокая флора пустыни. Куда ему меряться с ней в ее жилистости, мясистости и буйной выносливости. Какая бессмыслица.

Хорошо, она временна, она призрачна, она далеко не все еще. Болота мыслимы в возможности. Пускай его бьется и сжимается, работа его скажется нежданно-негаданно. Но когда оно полумертво! Осушка прошла и над ним. Ведь с ним сделалось же что-нибудь по спаденью воды по всему пространству.

Но это не относится к тебе. Отчаянная, заговаривающаяся нежность где-то еще прячется, пропадает, появляется, водится, обманывает внезапными чудесами.

Я люблю тебя и не знаю, на чем стоит это чувство. Хорошо, что не знаю этого.

Боюсь, что жажда большого искусства, льющейся через край душевности пересилила бы, и знай я, какая почва под моею тоской по тебе, я бы чувство с этого места толкнул и сам стал бы на нем, истосковавшись по болоту.

Но я не знаю этого, не знаю.

А мальчик растет, улыбается, воркует и плывет по времени, как облако по небу?

Снимись и пошли мне карточку, умоляю тебя.

Давай поцелуемся.

Твой Б.

Отослав с Гиттой письма высокого лирического напряжения, “письма из-под вольтовой дуги”, как он их назвал, отец ждал равного по силе отклика, подобно тому, как если бы он сам прочел их маме, чтобы увидеть ее непосредственное впечатление. Но шли дни, и

ответа не было, росли мука и чувство обиды. Это было тем более незаслуженно, что его не пускала к нам бесконечная задержка денег за отданное Госиздату второе издание “Сестры моей жизни”. Договор был подписан еще весной, и положенные по нему 80 % авторского гонорара должны были быть выплачены в течение 14 дней, но отец не получил их и за те полтора месяца, что пробыл в Москве. Не платил деньги также “Русский современник”, где печатались повесть “Воздушные пути” и цикл стихов. В журнале “Россия” публиковались “Белые стихи”, и А. З. Лежнев¹⁰⁹ тоже задерживал выплату. Так что надежды на скорый приезд в Тайцы оказывались тщетными.

Нетерпеливое ожидание ответа от мамы и денег из Госиздата вызывали болезненные мысли, толкали к неутешительным обобщениям о неуместности лирики в бездушной, лишенной отзвука среде современного общества. Для отца как лирического поэта, каким он чувствовал себя в дореволюционное время, это было катастрофой и крушением мира, утерей естественного оправдания жизни и призвания. В письмах мы находим самое раннее изложение этой темы, получившей развитие впоследствии в статье о кризисе лирики 1925 года и переписке. Отсутствие отзвука и подхвата, в котором нуждается лирическая поэзия, рождали грустные мысли о конце молодости и потере собственного голоса.

26. VI.24 <Москва>

Может быть, когда ты прочтешь этот упрек, он уже будет незаслужен. Всю эту неделю нет писем от тебя. И как раз когда я их так жду. Что это, зачем? Что с тобой, здорова ли ты?

Хотя я жары не переношу, и родился и всегда жил в Москве, что-то все же у меня в крови африканское. Сегодня, надо полагать, на короткое время тут наступила осень. Даже холодно. Вспоминаю знойную неделю, после которой я разродился таким градом страниц к тебе, и мне становится грустно. О солнце, солнце. Сколько пошлостей наговорено и сделано ему в угоду. И одних ли пошлостей.

И прекрасно! И мало еще, мало. Как оно жарило тут!

Оно раздевало меня до пояса, уподобляло мешку со щепками или углю в рогожном кульке, оно надставляло свою самоварную трубу прямо на легкие, пропустив ее через рот и горло, оно до ослепительности ярко освещало мою душу, что было очень невесело, потому что на его свету я ясно видел, что мне не двадцать два года, и много другого, еще более безотрадного.

Но ото всех чувств, и самых тоскливых, ложились черные резкие тени, такие же черные, как буквы в хороших стихах, когда они печатаются третьим изданием. Я сновал глазами по этой сетке душевных теней. Когда я стал их срисовывать, стали выходить письма к тебе. Это были письма из печки, письма из-под вольтовой дуги. Как себя, так точно я и тебя увидел, и свою тоску по тебе. Теперь его нет, теней не видно даже на тротуарах, ты мне не пишешь.

Спасибо, товарищи! Значит все пойдет по старому в безболезненной и прохладной неясности? Чудно, чудно. Что ж, мне наниматься на Рублевский водопровод что ли?

Ведь только поначалу трудно. А как начать, так я бы таких озер наплакал! Все это значит были бессмысленные мечтанья. Чудно, чудно, хоть удавись. Пощади, родной друг, прошу тебя. Один я всего этого держать и нести не в состоянии. На одних нервах. Откуда такая жестокость. Кто это тебя надоумил не писать мне как раз теперь? Больше ни о чем говорить не могу. И черт меня дернул купить пару пирожных. Я положил их на стол, и вдруг все увидел. Если завтра не получу письма, я тебя возненавижу. Нет, нет никогда, конечно нет, прости. На днях я постараюсь опять послать тебе денег. Их было бы достаточно, чтобы

¹⁰⁹ Абрам Захарович Лежнев (1893–1937), литературный критик, главный редактор журнала “Россия”.

приехать к тебе, но недостаточно будет, чтобы отсюда уехать: подоходный налог не внесен, квартира неоплачена с апреля, не говоря о долгах, Шура Штих и Абраша давно просили отдать.

Но я со всюю страстью прошу тебя привести свое здоровье в полный порядок.

Трать их, питайся хорошо и вкусно и ни о чем не думай. Пусть даже Феня пишет письма ко мне под твою диктовку.

27. VI.24 <Москва>

Утром получили письма соседи, темный хмурый день, низко нависшие тучи, холодно и ветрено, сквер в цветущих кустах и деревьях разговаривает по-шотландски, я настолько позабыл язык, что с трудом понимаю его.

Кажется он говорит, что Марина давно бы ответила, что жизнь полная ошибок, грустна и списана в расход. Он полагает, что ничего не может быть смешнее, чем давать сыреть пороху и потом удивляться, что он не рвется. И еще смешнее и безрассуднее забивать на шпингалет двери, стоявшие настежь, и заложив их болтом, безуспешно ломиться в них.

Когда ты мне напишешь?

Не случилось ли чего с мальчиком? Но тогда тем больше оснований написать мне. Хотя не о таком письме я тужу.

О как я стал бы читать его! И его не будет?

Я устал качать из себя слова и мысли, чувствовать, чувствовать, чувствовать до изнеможения, до тупости, без пользы и прока, без радости для кого бы то ни было, без смысла.

Я устал бегать мест, где дают, где получаешь мысль за мысль, где можно глядеть и слушать, потому что другой так же не щадит своих сил, как и ты, и так же, как ты, устроен и тем же несчастен. Я устал отказываться от родства, от свободы и прочего, что перебрать и припомнить мне сейчас мешает огорчение.

Усыпи меня глубоко, чтобы спало во мне все, кроме того последнего волоска, который отделяет жизнь от смерти, одари речью волосок и он скажет: жертвы, уступки, ошибки.

Но только проснется все остальное, оно покроет своей музыкой эти три слова, волоска не станет слышно, и однако вся эта пробудившаяся музыка будет сама сплошь: жертва, уступка, ошибка.

Как ты легко негодуешь и отшатываешься. И как редко и как трудно ты даешь. Родная, я люблю тебя, пожалей меня и напиши.

28. VI.24. <Москва>

Новый день и опять от тебя ни приветов ни ответов. Даже из Владивостока что-то доходит. А из Тайц ничего. Подает ют книжки стихов с Тихого Океана.

Почтовая бандероль, Арсений Несмелов¹¹⁰, хорошие стихи. Звонил к Сене и узнал, что в Петербурге все благополучно. Это у них. Но если бы у тебя что-нибудь было, знали бы и там. Убежден, что кто-нибудь у тебя гостит, Нюня или мама, и с ними тебе ни весело, ни одиноко, ни хорошо, ни плохо, и во всяком случае не до меня, не до судьбы, не до роз, не до всякой этой, как в таких случаях говорят – фантастики. Очень печально и обидно. Черт их дернул загостить как раз в эту неделю, когда я спиритизмом занимаюсь и твой дух вызываю. А они его держат.

¹¹⁰ Поэт Арсений Иванович Митропольский (Несмелов; 1889–1945). Переписывался с М. Цветаевой.

Виноват, *pardon*, ба. Да передала ли тебе Гита мои письма? Или лучше сказать, когда она их тебе передала?¹¹¹ Ну не томи же меня и пиши. Ну? Милая, милая, милая.

* * *

Будто у меня мало неприятностей и печалей. Как на грех я еще этим нетерпением зарядился. И оно растет. День, другой, третий. Это как три части большого романа. И ты молчишь в трех частях. Невозможно растянутые части, без главного лица, тоскливые, пустынные, читать нельзя. Главное лицо, главное лицо, явись, стройная боготворимо-своя, наполни мне день. Главное лицо! Ты видишь, я уже тоже не пишу тебе. Это одна видимость. Как разговаривать с воздухом.

Речь идет о получении стихотворного сборника “Уступы” поэта Арсения Митропольского, писавшего под псевдонимом Несмелов. К сожалению, ничего не удалось узнать о его знакомстве с отцом. Через Дальневосточную республику Несмелов вскоре уехал в Харбин.

Среда. <25 июня 1924. Тайцы>

Пишу и страшно хочу спать и плакать. Я получила в понедельник утром письмо по почте (письма получаются быстро и аккуратно) и в понедельник днем Нюня привезла мне два *заказных* и деньги с желтой бумагой. Я, вероятно, не успею обо всем сегодня сказать и даже не могу говорить о главном, буду писать о том, что первое подвернется под перо.

Так вот, в этих письмах во всех ты начинаешь с того, что, верно, мне от чего-то грустно. В день их получения слезы навертывались и подступали, все нарастая к ночи. Капочка с тех пор, как я тебе написала, простужен, то есть у него насморк, в понедельник было тепло, но ветрено, я вынесла его погулять и посадила в коляску за дом (где ветра не было), когда прошел поезд, оставила Феню с ним и побежала встречать Нюню.

С утра Женя был почти здоров. Приходим, течет у капочки из носа, чихает раз за разом, случились с ним у Фени всякие маленькие недоразумения, но это не важно. Позже, часов в 5 даю я ему кашу, чихнул он и вдруг стал задыхаться, началась рвота, полилась обратно каша, а потом опять, уже слегка окрашенная кровью. Феня кричит “ай, ай, ай, что с ребенком”, Нюня “где взять врача, едем в город”, вероятно, от очень сильного испуга я забыла растеряться и наделать глупостей, я приложила его к груди, его опять вырвало, положила его на бочок и постаралась отвлечь от раздражения в горлышке, потом дала сладкой водички, через некоторое время он успокоился, а спустя полчаса пососал и все еще слегка капризная, усталый, потный заснул.

Нюня уехала вечером, он сильно еще чихал и из носика лилось. Одуревшая, не успев раздеться, еще до ужина уснула и я. Вчера и сегодня ему лучше, насморк не такой острый. Но погода ужасная, опять снят тюфяк и коврик и гвоздями и досками прибиты и прижаты к двери на балкон, в который врывается ударами ветер, и бьется дождь, конечно, тревожно за капочку, как бы не простудился хуже.

Боричка, когда все проходит, кажется глупой тревога, теперь конечно понятна и рвота, — каша от *чиха* попала в нос, и он задохнулся, кровь была от насморка, как у взрослых, когда они с силой утирают нос. Но ведь я с ним одна, совсем непонимающая, а он не прощает мне ни малейшей неосторожности.

¹¹¹ Письма были привезены на дачу только 23 июня 1924 года.

Ты пишешь в письме о том, что капочку ты должен был впустить к себе раньше. Знаешь, Боря, капочка это пулька, которая попала мне прямо в сердце. Удалить ее – верная смерть. Жить с нею можно, но бегать, быстро ходить, волноваться, не чувствовать ее, принадлежать своим желаниям нельзя. Я никогда не буду здоровой. А капочка чудный, хорошенький, благородный, у него отросли волосики, окрепли ножки, он сидит, и кажется мне, что сегодня треснула внизу десна и я жду со дня на день, что покажется беленький зубок. Ох, Боричка, как трудно мне и тревожно.

Твое желание прислать мне “натальное письмо” и желтая бумага, и лиловый сургуч, один из тех, которые тебе так нравились, и так хотелось их тебе употребить, и ты тогда еще не знал, когда и где, – большое, большое тебе спасибо. Но, Боричка, слушай, лучше приезжай летом, а не осенью. Осенью переезд с дачи, значит жизнь в Петербурге, надо будет кое-что Жене пошить (шубку, пальто, платье теплое) всякие хлопоты – я не хочу с тобой встретиться опять в присутствии заботы. Не покупай мне маркизет, а приезжай на этот червонец (дорога в один конец стоит 8 рублей) летом, когда хочешь, лучше, когда поспеют ягоды, будем собирать наперегонки, думаю, через недели две.

Но не страшно ли тебе. Ведь я от искусства за много верст, я худа и в веснушках и думаю, что стара. Хотя в лучшие дни, если б не постоянная озабоченность моим мучительным дорогим крошкой и боязнь его оставить на полчаса, я вот-вот готова поверить, что мне пятнадцать, потому что безделье, деревня, одиночество и Феня, бывшая уже и тогда и никогда и теперь не спрашивающая у меня, что купить, что сделать, а только говорящая: “Ну, Женя, пора Вам молока выпить” или “Идите обедать”.

Но, Боря, я и сама страшусь твоего приезда. Ты чувствуешь себя изменившимся, я – нет, и тебя другим не вижу, а все по-старому – со слабой охотой соглашаешься ты в моем воспоминании выйти со мной погулять *etc.* За себя же я боюсь, что в одиночестве сдерживаемая нервность обрушится на того, кто не раз уже сносил ее проявление. Но самое ужасное, Боря, – если я поверю, если я замечтаю, если я увижу сказку – и если ошибусь, я возненавижу тебя с такой злобой, слабые отблески которой ты замечал. Будь, Бога ради, осторожен. Твои письма для меня пока книга. Я не знаю, поймешь ли ты, что я этим хочу сказать. Помнишь, как ты говорил мне про письма и стихи Цветаевой, что они написаны поэтом и это дань поэтическому темпераменту, а не реальному чувству.

Спокойной ночи.

Не буду скрывать, даже вскользь употребленное имя “Цветаева”, “Марина” скребут по сердцу, потому что с ними связаны горькие воспоминания и слезы.

Еще несколько слов относительно приезда. Ты потратишь на поездку неделю – это не оторвет тебя от дел и Москвы. На обратный путь, верно, сумеешь получить за что-нибудь в Питере, и если нет, из предназначенных мне. Недельные твои расходы тоже отпадут.

Быть может, до скорого свиданья. Если приедешь, я попрошу тебя привезти клей (лучше кроличий), лак или очищенную нефть и цинковых белил в порошке. Я даже за этим не могу отлучиться в город.

29. VI.24. Воскресенье <Москва>

I

Сейчас получил и прочел твое письмо. Спасибо. Теперь тороплюсь это написать, и буду писать, как ты говоришь, – что под перо подвернется, потому что хочу его скорей на вокзал отвезти.

Таким путем оно, может статься, обгонит целый поток тех несправедливых писем, что я успел написать тебе в последние дни. Но я так скучал по тебе, так ждал сегодняшнего! Я хандрил, я раздражался, и главное, только в последнем я умудрился подумать о том, в субботу ли ты (в день приезда Гиты в Питер) получила мои письма, как все время был в этом уверен. И вот теперь из сегодняшнего узнаю, что только в понедельник. Я же рассчитывал, что в субботу, и твое молчанье томило меня, мучило. Теперь прости.

Как печально. Твое сегодняшнее письмо останется единственным. Так тепло и ласково ты со мной уже больше не будешь говорить всю неделю. Потому что по своему обыкновению ты будешь ограничивать себя тем, что от меня идет, то есть зависеть от моих слов, от чувств и их выраженья. Как странно, в эту позу, оборонительную и выжидательную, ты ведь собственно встала из оскорбленной гордости, то есть от избытка силы, от того, что от природы тебе дана абсолютная своя наступательная первоначальная роль и тема. То же самое случилось и со мной. Ничего не может быть нелепее. Давай же вернемся к самовольным и неосматривающимся движениям. Станем дышать, не думая при том, теряем ли мы или приобретаем. А то ведь поприщу относительности конца нет, нет той мелочи, которая была бы на нем достаточно мала. Вот и совершенствуешься, то есть мельчаешь, что дальше, то больше.

Мы скорее сойдем друг с другом, если не будем друг с другом считаться, если не будем стараться попасть в ногу. Так мы будем перебивать друг друга, или нет, это неверно, а лучше сказать: так мы, каждый порознь отравим себе радость естественного и вытекающего из нашей природы шага, между тем, как вверившись одной своей походке, мы иначе, чем в ногу, пойти не сможем. Это случится само собой.

Сколько таких доказательств дали мы друг другу в переписке. Заметила ли ты их. Поразительные примеры. Как часто натываясь на какое-нибудь место в твоём письме, думалось мне: теперь она об этом прочтет в том письме, что отошло к ней вчера или третьего дня. Так было с деньгами. Так это теперь с моим приездом, с твоими словами о твоей удаленности от искусства, о худобе и о веснушках. О сургуче. Все что ты о сургуче говоришь. Я сдерживался. Сказать или не сказать? И прекрасно – не надо было, ты все насквозь видишь. Ах, ты того не зная, часто видишь меня и мое не только потом, когда оно получается тобой, но и в миг самого возникновения этих вещей. Ты живешь со мной и часто твой глаз погружается в мою мысль, в то, что со мной делается или меня окружает. Он погружается в эту среду, и ее волнует. И тогда я волнуюсь, привожусь в движение под твоим взглядом и благодарю тебя и люблю. Ты *знаешь* все или могла бы знать, если бы не ленилась, в том же смысле, в каком я могу все *вообразить* и был бы готов, когда бы не лень.

II

Ты знаешь, я воображаю.

Меньше ли мое твоего? Ты об этом часто пишешь. Нет, нисколько. Даже и в смысле прочности, верности. Вот в чем разница. Твое знание, твоя феноменально свежая, неиссушенная интеллигентностью, синтаксисом и “философией” интуиция оставляет для тебя всегда открытым выбор: действовать ли тебе или нет. За твоим знанием тут же, сейчас же, как за площадкой лестницы открываются два водопада ступеней, и ты обладаешь волей и порывистостью, нужными для полных, безоговорочных поступков. Ты вся в движении. Вот ты и разбегалась по жизни, вниз и вверх, всегда быстро, всегда решительно, гулко, полно, с опасностью. Теперь если ты возьмешь вот это свое знание (площадку с мгновенной задержкой перед прыжком вверх или скачком книзу) и вберешь в него все ступени, впитаешь их как бы в площадку, – ты получишь мое воображение. Оно обладает такою силой, что отбрасывая несущественное, можно сказать, что я нерасщеплен, что у меня нет противоречий, то есть что в противоречиях я – не я, не человек, меньше ничтожества. Как человек же я целиком подчинен ему.

Что же это такое? Это знание, без четкого, гулко и электризующего соседства шага, действия, поступка. Оно само наэлектризовано. Поступки и шаги втянуты им в себя и растворены. Это знание, изнутри пропитанное электричеством, опасностью, чувством, самопожертвованьем, движеньем. Это знание, которое историей и культурой признается за *дело*. Если я скажу еще одну вещь про него, оно будет охарактеризовано полностью и сказанного будет достаточно. Немногими случаями действительного движенья и настоящих поступков, имевшихся у меня в жизни, я обязан только ему.

Если ему довериться и отдаться, оно развивает какие-то движущие магнетические силы. Видишь вперед, предвосхищаешь, и вдохновение так пропитало тебя, что даже можно и предпринимать что-то, двигать руками и ногами, – *поступать*, потому что подымая руку, подымаешь руку, отяжеленную и проспиритованную им.

Я не могу переделать себя в главном. В мелочах можно перевоспитывать себя сколько угодно. Я делал попытки. Мне часто казался неказистым, второразрядным этот мой склад.

Ну что же. Двухтактного человека, находящегося постоянно в знании и движении (как ты), что меня пленяло и чему мое воображение поклоняется, – я бы создать из себя не мог. Для этого нужно вновь родиться. Но удавались мелкие пробы: быть как все.

Однако, какой безотрадный мир открылся мне тут. Я остался ни с чем. Теперь я опять убедился в жизненной, житейской, элементарно правдивой и *положительной* ценности этой силы. Я с ней прожил лучшую часть своей жизни, с ней и умру. *Только* она свела меня с тобой и тебя мне возвращает.

Я сделал ошибку, заговорив с тобой о ней. Этого не следовало делать. На будущее время воздержусь. Она являет себя сама, ее лучше не называть, не теоретизировать. И потом, все равно ни к чему. Своими частыми словами о настроеньях и причинах ты обнаруживаешь высокое и приковывающее меня к тебе качество: ты *не знаешь* своей лучшей *союзницы*. Так это и должно быть. Ты говоришь о том, что сама называешь фантазией, книгой, и что по существу есть дух верности и преданности, и попрекаешь призрачностью то, что только и не призрачно: это-то и есть сила любви, которая только тогда и жива, когда ей тесно, когда она разбрасывается, отливает назад – и видит тебя в прошлом, забегает вперед и говорит о тебе, встреченной там, где тебя еще нет, и дразнит и раздражает тебя этим виденьем.

Пусть это называется фантазией. *Qu'importe?*¹¹² Таков я, ты не сможешь с этим не подружиться, когда увидишь, как эта сила следует за тобой и тебе служит.

Приезд. Вот еще удивительное совпадение. Так же точно как и все, связанное с дачей: “мой дом” (помнишь), мои расспросы о местонахождении дачи и т. д. – и Евгеньевский пер.

¹¹² Не все ли равно? (фр.)

А знаешь, зачем я так о точном адресе просил? Я уже и тогда рвался к тебе ехать и казалось – завтра-послезавтра увижу тебя.

Теперь, когда ты об этом заговариваешь, не ясно ли, что ты мечту об этом вычитала из сургуча. А что другое сургуч, как не новый приступ был надежды: сегодня же, чуть только “Современник” или, завтра, когда Лежнев...

Но нет, невозможно покамест.

Я уже сказал тебе вчера.

Доехать до тебя легче вдесятеро, чем выехать. А если на все плюнуть, слишком большой козырь получают домоуправление, фининспектор и пр. и пр. в свои руки.

Пожертвовать квартирой? А не слишком ли жирный для них будет кусок. Нет, скрепя сердце, добьемся своего.

Целую пульку в сердце твоём, хорошенькую, благородную, тихую.

Воскресенье 29 <июня 1924. Тайцы>

Я получила уже сегодня твои письма от 23 и 26, как быстро – штемпель Москва 26, Ленинград 27, Тайцы 28. Опять встретились и разминулись наши письма об одном и том же – о твоём приезде сюда. Ты опять озабочен и чувствуешь себя в оковах, а между тем я утверждаю, что изменилась только погода. Для меня это *только* – все. Это смысл всего лета – это здоровье Жени, моя поправка, весь замысел дачи, отъезда.

У нас очень холодно и ветрено, и так как Женя был простужен и теперь сопит, то и жду хорошего дня, чтоб вынести его опять на улицу. Пока мы сидим в маленькой комнатке, где вечером 18, а утром 15 градусов, и где Женя перетрогал все стенки, где он тянется и просит все, что бросается в глаза, и ни секунды не сидит спокойно, с трудом укладываем мы его в 10, а уже в 6 часов он встает и опять живет быстро быстро и широко открывает глаза и забывает закрыть рот. Он безусловно похож на тебя, особенно, когда удивлен, а это с ним бывает часто.

О, я очень боюсь, что лето будет плохое и тогда, увы, еще более трудная зима, трудная невероятно, потому что страшно подумать, как я не оправившись, а ты еще больше устав, будем существовать. Я ем много, но пока абсолютно не потолстела, а может, даже похудела – вся надежда на жаркое лето. Со страхом я еще думаю о том, кого я на зиму возьму к Жене. Феня хороша по хозяйству и может меня от него абсолютно избавить. Няня она – никудышная, она неряшлива в том смысле, что противоположно китайцам и твоей укладке чемоданов, потом от нее сильно пахнет потом, и на нее нельзя и на час оставить ребенка – она несообразительна, тяжела и тупа. Вполне доверяла Женю я Пяне, к тому же она грамотна, весела, но у нее заболела мать, она уехала в деревню, и не знаю, вернется ли. Но это все на потом.

А хотела я сказать тебе вот что. Оставить Москву на неделю безусловно можешь, можешь даже никому не говорить о своем отъезде (кроме Шуры), а скажи, что на неделю уезжаешь в Пушкино. Я знаю, что неделя проходит так быстро, что твоего отсутствия не заметят. Но пусть тебе не кажется, что это необходимо, нет это было бы быстро, освежающе. Я больше не буду писать об этом и тебе не советую, потому что может показаться, что это очень долгое и трудное путешествие, о котором надо сперва серьезно подумать.

Боричка, у меня к тебе просьба. Достань и прочти “Путь к славе” (перевод М. Славинской) Роберта Уитгенса. Я это читаю теперь в журнале Вестник Европы за 17 год – январь и февраль – хорошо. Прочла я пока только до Продолжения. Достань поскорее, прочти и напиши. Очень может быть, что сильно на меня подействовало, потому что я очень давно ничего не читала. Если я успеваю написать тебе письмо или почтить – это уже страшно много для меня.

Боря, вспомни, каким ужасным тебе всегда кажется связанность, например, необходимость оставаться дома, когда я бывала больна (в Берлине, помнишь, да и в Москве, уже на второй день после операции первой), и ты должен сильно меня пожалеть и понять, что я не могу не быть бледной, сжатой, безразличной ко всему. Как хочется мне быть веселой, беззаботной, здоровой, спокойной, главное, *беззаботной и свободной*, и я знаю, что это невозможно так же, как вернуть время. Моя привязанность и связанность Женей (о, Боричка, как крепко я его люблю) так болезненна, как будто я вся окружена иглами, готовыми вонзиться, как только я неосторожно пошевелинусь.

Я и об этом больше не буду писать, – так уже отпали темы “твой характер”, “твой приезд”, “моя связанность Женей”.

Всего хорошего, целую, не грусти.

Я просила тебя как-то прислать книги, ты не ответил, трудно ли это. Сургуч в дороге с писем срывают и остается только след.

30 <июня 1924. Тайцы>, понедельник

Я написала тебе вчера письмо и вложила лепестки розы, дойдет ли оно. Я получила сегодня два твоих письма от 27 и 28. Мне грустно, что тебе тяжело, и что я не могу ответить тебе на твои *заказные* так, как они того хотят. Я не помню теперь, вырывались ли у меня в жизни горячие слова любви, даже слова уважения (как к папе) или горя и сочувствия (как к Жоне) должны дойти до невероятного обострения, чтоб быть сказанными. Но ты, конечно, прав, я отсырела, теплота моего непосредственного чувства меня не согревает. Ушла ли она, бесплодно поглощенная тем “искусственным льдом”, о котором ты пишешь? Нет, Боря, я думаю, что не было этого льда.

Самое близкое, что я помню, это зима. Ведь еще прошлой осенью у тебя были мечты, правда, мне казалось и тогда, что они едва меня касаются, а обращены на возрождение твоей работы, краешком они захватывали наши отношения, как условие и настроение. Эх, Боря, о чем толковать, щедро лилось масло в огонь враждебности. Мы шли по дороге, и камни, подставленные жизнью, принимали за ногу рядом идущего. Мы оба жадные, мы боялись дарить друг другу минуты, часы – и оба вне работы, вне радости, вне свободы.

Помнишь ли ты, с каким негодованием ты вспоминал поездку в Веймар и дни, исключительно для меня там проведенные. А теперь, Боря, это желание (которое возникло в *отсутствии*) меня видеть, быть со мною, говорить, дышать, оно пройдет еще прежде, чем ты насытишься, пройдет после первых двух-трех дней, когда ты в оправдание скажешь “надо работать”, “дни уходят”. И слова эти будут правы, но не право будет настроение, ощущение неполноты и где-то только краешком задевающая мечта.

Быть может, если бы я, подобно тебе, получила сейчас возможность тратить целиком весь день на работу, я почувствовала бы острую необходимость любить. Теперь любовь у меня, отраженная от твоего чувства, от твоего сердца, и много надо ему тепла, чтоб гореть на двоих. И кажется мне, что не осилить тебе. И что реальная ежедневная жизнь вместе это не замедлит доказать, и я страшусь ее, боюсь опять, как прошлую зиму, взять на себя год испытания. Помнишь, я говорила “Зима покажет”. Я не хочу, мне слишком больно. Упреки, хотя причины их получать сейчас нет (я получила письмо в понедельник, во вторник ответила, в среду письмо ушло), я принимаю по адресу с большей уверенностью, чем заказные.

Женя

Не жди скоро письма, мне трудно писать, трудно смотреть в будущее.

Вторник, 1 июля <1924>

Уже сегодня получила твое письмо, посланное вдогонку. Ты во всем совершенно прав. Уже в том письме, как ты его назвал, карандашном, когда я писала тебе “Бога ради, не говори: прости, не зная до конца свою неправоту”, я хотела, но не помню, почему не написала о том, что не дай Бог тебе от себя, от своей сущности отступить, хороша ли она или плоха, близка ли мне или враждебна. Зависимость в творчестве, ты знаешь, как для меня противна, но в жизни, я даже к совершенно чужим, как например к Стелле, чувствую сильную вражду за то, что она не своим нутром живет. Что касается моих писем, то ты опять-таки совершенно прав – я не пишу, а отвечаю, а отвечать мне тоже скучно, кажется, что я под диктовку пишу и что ты, действительно, все знаешь, и я с удовольствием ликвидирую тему за темой. Не сердись и не огорчайся, но я, вероятно, буду писать редко, и когда в том будет явная необходимость.

Не проси меня писать и постарайся не связывать желания (если оно будет) мне кое-чем рассказать. Если ты будешь спрашивать о том, на что сам, действительно, не сумеешь ответить, я напишу, если тебе захочется просто говорить – я буду слушать внимательно.

Женя

У Женички внизу два зубочка. Он с таким удовольствием и удивлением стучит ими о стакан, о блюдечко, о ложку. Два дня, как мы в перерывах меж дождем и ветром на полчаса, на десять минут, зависит от погоды, выходим и опять бегом возвращаемся домой, повернув Женю спиной вверх к дождю, а он принимает это за игру и хохочет.

2 июля

Боричка, я наспех, уже в темноте пишу тебе. Мне хочется провести рукой по твоим мягким волосам. Теперь ночь, и мне уже давно пора спать. А что если наплевать на нездоровье завтрашнего дня и придти к тебе. Боря, мне не спится, можно? Какое счастье быть животным или ощущать так вдруг первобытные инстинкты. Подошла к корзинке, где спит Женя. Какое счастье, это маленькое тепленькое мое тельце, мой ребеночек, Боря. О, если б можно было стать просто кошкой, лечь около него, отодвинуть его бочком, чтоб он со сна с закрытыми глазами потянулся к твоей груди и замурлыкал по-кошачьи сладко. Ты представь себе, Боря, если б это был первый ребенок, если б никто никогда не видал их кругом на каждом шагу. Что должна была бы чувствовать мать. О, как хорошо быть кошкой или львицей, которая уверенно, гордо трется боком (помнишь как в Тиргартене¹¹³), кладет морду на шею льва и отдается марту, и сливается с природой, и себя и свое дитя знает, как единственное – вне сравнений и опыта других.

Как странно, это только что пришло в голову, что животные, которые нам кажутся стадными, которые все в своей жизни похожи, на самом деле единственны, потому что у них все через свою единственную природу и опыт. Я не знаю, поймешь ли ты меня. Я хочу сказать, что отсутствие человеческого ума и опыта через понимание делает их подлинными индивидуалистами.

3. VII.24. <Москва>

Золотая моя умница, получил воскресное и понедельничное твои письма. И опять в разминувшихся письмах речь об одном: о том, что у нас в разминающихся письмах об одном

¹¹³ Зоологический сад в Берлине.

говорится. Спасибо за благоухающую фотографию, вложенную в воскресное письмо. Ты знаешь, запах ее так силен, что конвертом надушился ящик стола, честное слово, не преувеличиваю. Вот как это было. Я положил оба письма ко всем твоим остальным, в ящик. Сейчас хотел перечесть. Вынимаю конверт за конвертом – все не те, старые. Стало быть, я их в ящик не положил, только показалось, может быть, на печке близ постели? Нет, ящик неуловимо и расплывчато отзывается розой, то есть тем, что я тебе в заказных писал, то есть твоей готовностью принять это все на себя, то есть Тайцами, лицом Тайц, еще немного отдаленной, но уже близящейся радостью. И действительно, письмо нашлось, только я его меж других засунул. Ты все видишь, ты все знаешь, роза меж двух половинок желтого, загнутого листочка это ты сама, и ты ее вкладывала, чуть-чуть волнуясь, в полном сознании того, что ты делала, и что это значит, и опять опередила меня.

Но сделай усилие, милая подруга, и стряхни с себя эту печаль. Правда, печалиться незачем. Ты думаешь, мне тут очень сладко? Ведь я ничего существенного не наработал, и в этом отношении (в отношении работы) никаких перемен по отношению к зиме нет. Но я внутренне переродился.

Драгоценно своим и достойным стали для меня опять, мое стремление ко благу, к правде, к совершенству, то есть мое искусство и моя любовь, то есть божий мир и ты в нем. И вот, достаточно было надышаться, хоть пассивно, всем этим, как и у всего окружающего изменилось лицо.

По счастью проявлений просто-напросто любви ко мне несравненно больше, чем знаков недоброжелательства и вражды. И слава Богу, что к обеду моему подаются перец с горчицей. Как бы стали мы есть лучшее, что может дать земля, не ставь судьба к нам на стол этого горького судка? Крест<оянские> и пролет<арские> поэты словно нарочно созданы, чтобы было у нас, чем обливаться и посыпать салат, огурцы и редьку. Ты скажешь, что я слишком о себе много говорю. Ну прости, а мне казалось, что о тебе, я нас друг от друга не отделял. Но если вспомнить, что и пастернак существо огородное, а также и оглянуться на сказанное в первых строках письма или просто сунуть нос в выдвижной ящик, то надо будет признаться, что письмо совсем ботаническое. И слава Богу.

О чем тебе убиваться? Выйдем, выйдем на дорогу, родной кусок меня самого, правая моя рука, межреберное мое чудо. Выйдем, не беспокойся. И в той мере отдельности, какая нужна, я и тебя на дорогу выведу, то есть помогу выйти, то есть хочу помочь.

И потом одну еще вещь я узнал. Что у тебя нет другого никакого мужа, нежели тот, что я теперь, то есть что только в поэте ты найдешь человека, и совесть, и прозу, и помощь, и пользу, и толк. И скверно, что эта сила сейчас бездействует во мне.

Теперь о деле. Я опять твердо знаю, что раньше десяти дней мне никоим образом к тебе не собраться. Но думаю, что и не позже, чем через две недели соберусь. Я нарочно ничего тебе не пишу о разных фактах и делах (хотя все они незначительны), чтобы иметь о чем за столом при Фене с тобой говорить. Но иногда мне кажется, что – не в письмах даже, а в воображаемых обращениях к тебе за это последнее время я выговорил все, весь выговорился и часто с робостью я думаю о том, каким бессловесным я к тебе приеду. И действительно, я не слышу себя разговаривающим с тобой. Но я вижу наплывы густой зелени, опускающееся и поднимающееся пространство, извилины и неожиданности дорог, и тебя и себя, глядящего на тебя и кажется сутки сплошь целующегося и сросшегося с тобой, и вот мы с тобой цветом, пахнем, ослепляем или дышим тенью, закатываемся и восходим.

8. VII. <1924. Тайцы>

Вчера получила твое письмо. Захвати, Боря, на всякий случай, потому что я слабо надеюсь, что сумею поработать, один маленький подрамок из тех, что в большом шкафу, работу

с него сними и приколи к двери шкафа, а подрамок сложи и вложи в чемодан, холст, не приготовленный, то есть просто полотно, у меня здесь есть, клей хорошо бы *кроличий*, листика два, не помню, есть ли у меня дома, где-нибудь поищи в нижнем ящике бельевого шкафа, того, что около кровати, потом 1/4 или 1/2 фунта *цинковых белил в порошке* достанешь в москательной лавке на Арбатской площади, и немножко обойных гвоздиков. Хорошо бы еще листа три бумаги для рисования, тоже у меня в нижнем ящике возьми, можешь взять вместе с папкой, она тоже, вероятно, в твой чемодан влезет. Если это тебе не трудно, то сделай. Если покажется неприятным, то брось, обойдусь.

Видишь, Боря, ты в письме пишешь, что тебе не сладко, а мне так кажется, что всю тяжесть я взяла на себя, уехав с Женей. Правда, у тебя осталась забота о деньгах и квартире, но это несравнимо – бывает же у тебя все сплошь 24 часа твои – *о какой ты счастливый!!!* Если ты приедешь 20-го, и приедешь только на неделю, то попадешь в плохое время, вероятно, это будет время моего нездоровья, когда я раскисшая буду, как сонная муха, ползать или лежать. О чем я тебе еще хотела написать – вот: здесь все время ужасная погода, дождь, ветер, холод.

Если так будет продолжаться, то может, придется уехать, – об этом мы потолкуем, когда ты будешь здесь. Увы, я потеряла свою решительность и быстроту поступков и собираюсь учиться терпеливости, я бы уже сбежала – но как подумаешь, что опять ехать, что-то искать (то есть если в Москве хорошая погода, то под Москвой комнату), опять перебираться и потом денег-то опять сколько тратить, и решаю, что надо быть терпеливее и жить не так, как хочется, а как можется (увы, когда-то Хиля меня хотел приучить к этой отвратительной пословице).

Ну вот так, жду тебя с нетерпением по-разному и по-всякому. Хотя ждать терпеть не могу. Помнишь, как ты ждал в Братовщине приезда и как проходил у тебя такой день. Правда, мне дней считать не к чему, но от ожидания сосет под сердцем. Может, ты напишешь точно, когда выедешь, приедешь в Петербург ты часов в 12, а в 1.40 с Балтийского вокзала поезд в Тайцы, если напишешь, буду встречать.

Всего хорошего, ответь поскорее.

Женя

Почему ни ты, ни Шура мне не напишете, как он живет и как Ирина, занимается ли, отдыхает ли. Крепко их целую. *Женя*

9. VII.

Только что получила твое об ангине. Боричка, выздоравливай и приезжай поскорее. По правде сказать, я тоже сильно соскучилась, крепко тебя целую. В комнате у меня стоит целый горшок красных и маленьких бледно-розовых роз, я бы с радостью тебе их отправила, а пока отправляю их всем сердцем.

Твоя Женя.

Из приписки можно судить, что было несохранившееся письмо от 4 или 5 июля, в котором отец сообщал о том, что заболел тяжелой ангиной. Вскоре у него начались сердечные осложнения, что задержало его отъезд в Тайцы еще на целых три недели.

9. VII.24. <Москва>

Милая подруга!

Завтра я уже выйду наверное и думаю, что у меня весь день продержится нормальная температура. Какие скоты в Госиздате! Неделю назад они клятвенно пообещали заплатить мне 8-го (вчерашний день). Так как я еще не выхожу, а Шура опять занят таинственной работой в острой и скоротечной форме, то попросил Абрашу¹¹⁴ сходить с доверенностью. И вот оказывается отложили платеж больше, чем на неделю. Когда же я наконец к тебе попаду! Мне трудно теперь писать, я понять не могу, откуда на меня напала такая слабость. Словно я кровью истек. Господи, как я тебя люблю и как всеми помыслами и каждой жилкой к тебе тянусь. Неужто опять обманут?

Они обещают теперь дать денег в четверг через неделю. Если не случится чего-нибудь непредвиденного, выеду в пятницу. В будущую, стало быть субботу буду у тебя. Ты не огорчайся, дорогая, что все это становится непохоже на то, что нам раньше представлялось и желалось. Это только так кажется. Это оттого, что тон писем стал у меня другой. Да как ему было и не измениться. Я пишу тебе, как из тюрьмы, из самой гущи безысходно пустого и скучного дня. Я вынужден воздерживаться от чувств и впечатлений, вызываемых посещениями друзей. Одни, исходящие от их рассказов и от разговоров с ними, я подавляю, чтобы температура у меня не поднялась, сильно, как оказывается, отзывающаяся на всякое волнение.

Другие, идущие из глаз в глаза, я отвожу оттого, что тебя люблю и что ты самолюбива и ревнива. А безразличной пестроты, то есть улиц, незнакомых людей и пр. и пр. я не вижу, под дождями и под солнцем не бываю, не пишу, и только может быть сегодня за чтение возьмусь. Мне стоило бы большого и мучительного напряжения вновь вообразить Тайцы и тебя, и я этого соблазна избегаю. Нет, нет, любимая моя, ты ни о чем не думай и ничего ни с чем не сравнивай.

От наших (от мамы и Лиды) получилось письмо с ответом на то твое, о котором я тебя недавно запрашивал. Я тебе пересылать его не буду, а с собой привезу. В мамином много чувства, в Лидином много ерунды, но будто все это мимо, чем-то не понравилось мне письмо. Я все больше и больше убеждаюсь в том, что для меня искусство в целом, его мир, тип человека, который оно вырабатывает, его историческое прошлое, трудности, им преодолеваемые в наше время, его будущее, о котором можно гадать, вся его семейная хроника – кровно нужны мне, как воздух, которым я всегда дышал и дышать буду. У меня были родители и сестры, пока они определялись тем же свойством, пока они, сами ли качаньем этого воздуха занимались, или просто находились в нем, косвенно с ним связанные. Я любил своих *только* так и *только* в этом отношении. Читая Лидино письмо, я пришел в раздражение оттого, что этого там нет. И не отходя от стола написал им резкое, нехорошее письмо. Сейчас, разумеется, каюсь и сегодня же буду у них просить прощения. Засыплю их ласковыми словами, но почувствовать *без* этого возвышающего фона у них за плечами *не смогу*. Это не относится к папе, который с ума сходит от красок в Палестине.

Р. S. Милая Гулюшка, я тебя крепко люблю, крепко целую, крепко обнимаю. Я совершенно не знаю, как с тобой буду жить. Я тянусь и рвусь к этому, как к предельно глубокой, неповторимой по тонкости, нечитанной мною и мною несочиненной книге, где все достигнуто и выражено с тем совершенством, с каким в полдень спит послеобеденным сном солнце, и сквозь сон говорят петухи в бездонно тихом и голубом море прожитого; – человеческих воспоминаний, из которых состоит летний неподвижный воздух в тридцать лет.

Прости. Этого вкуса бытия, вяжущего, захватывающего и усыпительного я передать не в состоянии. В выражении это становится чепухой.

¹¹⁴ Абрам Вениаминович Адельсон.

Свет в твоём присутствии представляется мне тем белым светом Ван Гоговского созерцания, при котором *от зрачка* художника, страстного и повествовательного, падает тень на луг и на полотно. Звук – таким сильным и еле уловимым, словно это звук слова, произнесенного год назад и каким-то чудом задержавшегося в своём долгом пути. Страшная отдаленность заряда и зарождения. Страшная сила разрыва, преодолевающего громадные расстояния. Тонкость и неуловимость проявлений, победивших огромные расстояния. Тишина, залитая солнцем, в которой уголь и гром.

О прости, такие вещи пишутся не так и не второпях.

12. VII.24. <Москва>

Дорогая моя!

У меня теперь с температурой то же самое, что у тебя с кровоточением бывало. Сегодня опять будет Левин. Но это все пустяки. Печально, безысходно, непоправимо печально то, что тем временем, как меня томили и томят с платежами, мелькают дни, проходят недели, и вот уже лето кончается, и я у тебя не побывал. Как всегда в таких случаях, я совершенно пал духом.

Был день, когда я прощался с тобой, не с тобою вообще, но с тобою в Тайцах, с тою тобой, к которой душой несли заказные письма, прощался и плакал. Потом я узнал, что прощаться и плакать мне нельзя, потому что это подымает температуру на 0,5. По той же причине мне нельзя и работать, и читать, и, вероятно, и письма писать вредно. Вся разница между моим теперешним и твоим берлинским положением, отбрасывая просто несравненно большую серьезность твоего, заключается в том, что все то, чего мне нельзя, мне в то же время обязательно нужно. Обязательно надо достать денег, ты наверное давно без них сидишь, квартира уже третий месяц не оплачена (не из чего было платить), и на нее нарастает чудовищная пеня, то же самое и с подходящим налогом.

О, что за каторга! Мы должны чудом откуда-то доставать деньги в то самое время, как всякие издательства, в том числе и государственные, и всякие люди, в том числе и государственные, вправе месяцами отказывать нам в гонорарах, расплатах по договору и пр. и пр. Это оскорбляет и доводит до отчаянья. Но ради Бога, не поддавайся моему настроению. На этот раз это одно из тех, с которыми надо бороться. Одно из тех, что ведут вниз, а не вверх, – вот в чем вся разница, и вот в чем его осуждение. Пускай настроением была и первая половина лета. Его оправданье было в том, что оно подымало и прибавляло жизни. В таком настроении производятся открытия и делаются завоевания. А это – смертоносное. Оно еще ниже действительности, то есть того, что подметают дворники с мостовых.

Напиши мне ласковое письмо, посмейся надо мною, скажи, что все это пустяки, замедли течение времени, мне хочется еще в июле попасть к тебе. А я все силы приложу к тому, чтобы вернуть себе то настроение, которое залило мне светом сердце и позволило мне прочесть в нем много такого, чего я в целом никогда в нем не читал, а частями читал очень, очень давно. Этому моему письму значенья не придавай. Все уладится. С осени обязательно надо будет избавиться от проходной комнаты, сейчас у меня решимости на это нет. То есть просто нет сил. И вдруг выйдет, что я какую-нибудь глупость сделаю. Без тебя этого нельзя предпринимать. Пиши же мне, родная моя, утешь и поддержи.

Твой Б.

Пятница 11. VII. <1924. Тайцы>

Боричка, конечно, я твоей маме письмо отправила на адрес Жони, но своего адреса не дала.

Я бы все-таки хотела точно знать день, когда ты выедешь, хочется тебя встретить.

Это, конечно, случайность, но почти в тот же день или днем позже, когда ты заболел, снился мне страшный сон, до того, что и теперь вспоминать жутко, а тогда я долго ходила напуганная, рассказала его Фене, хотела тебе написать.

Вечер, у тебя собралось много народу, почти все совсем молодые, то есть вроде Вильяма и Куниной¹¹⁵. Помню мельком, но определенно, я что-то живо, но с робостью говорила и вдруг поняла, что все они еще очень молодые и наивные, потому что слушают меня еще с большой робостью. Ты был оживлен и взволнован, много говорил, кажется читал, кто-то играл. Комната, терраса, пейзаж не русский. Серый камень низкого широкого крыльца, окно в глубине ниши, сумерки, рояль.

И как бывает во сне, все сосредоточилось в той полосе, едва достигая рояля и чуть-чуть повыше голов на фоне очень широкого окна. Аэропланы, целая стая от выстрела сорвавшихся диких уток, с резким звуком стали разрезать воздух (я не знаю, как тебе объяснить, был ли то звук мотоциклета или низко очень быстро пронесшегося аэроплана, или образ свистящей над головой сабли). Все мы выбежали на площадь перед домом, думая, что видим гонки, состязанье.

Дальше я никого не видела. Около меня, как коршун, опустилась громадная птица (все еще казалось, что это машина, хотя аэроплан машиной трудно назвать) и все с тем же оглушающим звуком впились стальными когтями в землю. Грудь и обращенные на меня крылья были темно-розовые (но “розовые” ничего не говорит – это был жуткий розовый цвет, по силе и матовости – красный, по тону – розовый), поджатые во время спуска, покрытые серыми перьями ноги потом впились в землю стальными когтями. Но я, все еще пораженная, любовалась этой птицей, опять поднявшейся в воздух, когда другая камнем слетела рядом, но промахнулась и задела меня только крылом. Я все поняла и бросилась к дому, громко зовя всех опомниться и вернуться, думая о тебе и зная твою рассеянность. Было поздно, окровавленных внесли двоих. По ощущению, один из них был ты.

Дальше уже сон лишен ясности. Лазарет (как во время войны) и много раненых ужасными птицами, всех перевязывает уставшая, измученная сестра. Приходящие люди исполнены каким-то религиозным подъемом и даже не горюют. Уже совсем смутно помнится какая-то женщина, славословящая над останками, и я, умоляющая сестру, которая, наконец, дала мне льду, который непременно надо было завернуть в марлю и заполнить им раненую грудь.

Жду с нетерпением.

Женя.

Суббота.

Просьбу не говорить о твоей болезни не могу исполнить, потому что уже сказала. Сегодня я совсем кислая, нездоровится. Три дня у нас жарко, но все-таки ветер.

14. VII.24. <Москва>. Вечером

Моя родная, я облился слезами, прочитав твой сон. Это сон в руку и слава Богу, что, кажется, миновал, ото снился. Ты и не подозреваешь, сколько в нем правды, и как поразительно, что я сегодня как раз про него узнал. Увидимся, расскажу. Но как мне сказать наверняка уж и теперь, когда я приеду: я сегодня в первый раз вышел на несколько минут. При-

¹¹⁵ Евгения Филипповна Кунина (1898–1997), знакомая Пастернака и его поклонница, поэтесса.

шлось скоро домой вернуться, пошел дождик. Какая не удачная карточка, но что за чудесный мальчик на ней! Какой-то задорно-созерцательный, настороженный и грустный. Страшно милый и удивительно, что наш. Слава Богу.

Письмо, которое сопровождало карточку, если исключить приписку насчет роз, огорчило меня. В нем в первый раз за все лето сказался незаслуженный холод, и счастливец ты назвала меня некстати, не вовремя, я тебе и про это расскажу.

Однако я знаю, как действуют такие сновиденья; и чего стоит физическая подоплека повышенной чувствительности *теперь также узнал*. Так вот. Лучше уж огорчай меня, но да минуют тебя такие сновиденья. И лучше будь безжалостной, чем жалостной, потому что у жалости есть свои медицинские причины. Но мы скоро увидимся. Какое счастье! Это тоже представляется мне сном. Дай Бог, чтобы не был он кратковременен. Ты все боялась моей изменчивости. Я не этого опасаюсь.

Шура все еще не уехал, хотя у него уже больше трех недель заграничный паспорт в кармане. Пепа¹¹⁶ привлек его к работе по мавзолею, и по обыкновению, он работал сплошь, дни и ночи. Мы немного ссорились с ним, потому что в дни, когда я так нуждался в его помощи, он не оказывал мне ни малейшей, раздражался и плохо себе представлял, что со мной.

Теперь горячка рабочая у него миновала, и сегодня он будет в Госиздате по моему поручению. Если ему дадут денег, я завтра же тебе pošлю по Петербургскому адресу. Прости, что так задержал, не моя вина. Оставлять дачу и не думай. Никогда вперед нельзя знать, какая будет осень. Особенно нужно это сказать тебе в эти дни, которые и у вас, вероятно, дождливы. Здесь тоже ветер и дождь.

Ах Женичка, Женичка, вчерашнее твоё письмо со сновиденьем! Какая близость, какая сопряженность в судьбе. Мы рядом с тобой – и кругом опасная стихия случайности.

17. VII.24. <Москва>

Дорогая Женичка!

Ура, ура, ура! Я уже совершенно здоров, третий уже день как выхожу, и постепенно начинаю себя самого и дела в порядок приводить. Мы еще поживем с тобой, именно так, как вначале предполагали. Приехала Гита и кое-что рассказала. На карточке ты ужасно худа. Это и она подтверждает. Гулюшка, надо тебе самой своим здоровьем заинтересоваться, это во власти человека, ты обязана поправиться и это задача выполняемая, – я это на себе проверил. Я именно оттого так убежденно об этом говорю, что у меня очень капризная разыгралась вещичка на почве ангины, с которой казалось бы нет никакого снада, потому что она не от одного питания и режима зависит, и вне человеческого контроля. И все же, мне так хотелось выздороветь и к тебе попасть, что я с ней, слава Богу, совладал и вполне здоров опять. У меня температура держалась оттого, что налеты очень медленно с горла сходили. А это было вызвано слабостью. Слабость же зависела оттого, что сердце у меня сплеховало. Левин нашел у меня какую-то ослабленность сердечных мышц. Это наверное оттого, что я тебя слишком крепко люблю. Выражалось это в том, что у меня около двух недель был пульс, по частоте не соответствовавший температуре. Температура была уже ниже тридцати восьми, а пульс такой, как бывает при очень высокой. А я себя считал человеком искренним и правдивым.

Мне не хотелось тебе об этом писать, чтобы не волновать тебя зря, хотя тут собственно нечего было волноваться, но ты бы, может, к этому всему придралась и заволновалась. Сейчас же говорю потому, что все это миновало, не оставив ни следа. Но я и теперь бы болел,

¹¹⁶ Домашнее имя Б. И. Збарского.

если бы не хотел так сильно выздороветь. Прости, дорогой друг, что я так много об этом говорю. Но мне так радостно, что я опять в полном смысле слова на ноги встал! Я нарочно ничего не делаю, и слава Богу, мне это ничегонеделанье не в новость и не в тягость. Поработаю у тебя, на даче.

Я все привезу, о чем ты просишь, но зачем тебе было меня дожидаться, ведь это, верно, не бог весть каких денег стоит (подрамок, кроличий клей и т. д.). Когда приеду, сказать не могу. Но можешь быть убеждена, что без причины откладывать не стану. Наверное извещу. Все-таки я еще и слаб и совсем без денег. Письмо отправлю с Николаевского вокзала. Мне захочется, вероятно, расцеловать зданье. Это было последнее здоровое впечатление и теперь – одно из первых. Обнимаю тебя и мальчика. Верно, он препотешный и трогательнейший.

<22–23 июля 1924. Тайцы>

Боричка дорогой, прибежала с телефона. Я слышала, как ты готов был расплакаться, и сама не могла тебе от волнения ничего сказать. Слушай, Боря, не волнуйся – это главное. Не пиши, если тебе нельзя, письма на вокзал не смей возить, ты, верно, по дороге опять простудился, а в Тайцах не раз они лежат лишний день или два. Я узнаю, можно ли в Тайцы телеграфировать, и терпеливо буду ждать твоей телеграммы о приезде, если ты не сумеешь выехать во вторник, как мы условились.

На всякий случай знай, что в Евгеньевский переулок надо идти вдоль линии обратно, если пойдешь обратно, то значит с правой руки, а если с поезда глядеть, то с левой, с той, где станция. Пишу об этом на тот случай, если тебе самому придется искать дачу, потому что переулок редко кто знает, скорее знают дачу Карновского. Так вот, пойдешь, значит, обратно, минуешь сломанные вагоны на линии и увидишь три домика, первый с красной крышей забит досками, второй тоже с красной крышей – это и есть наш.

Боричка, сколько же тебе, бедному, надо денег достать? А главное, что с твоим здоровьем. Когда я получила твое письмо (ответ на сон), то меж строк прочла, что ты болен и боялась, не порок ли у тебя сердца, потому что ты в письме все говорил о *“физической подоплеке”*, потом ты написал, что здоров, что же опять?

Но Боричка, если тебе даже писать нельзя, то не пиши, я подожду твоего окончательного выздоровления, смотри не выезжай больным, чтоб хуже в дороге не простудиться, а только тогда, когда позволит Левин, ведь он и сам понимает, что тебе хорошо в деревне. Погода уже вторую неделю хорошая, я сегодня лежала час на крыше, и лицо еще теперь саднит и горит от солнца.

С субботы я тебя ждала, убрала и каждый день выбегала в 3 часа к линии, ища тебя на площадке.

Среда.

Вчера не дописала. Боричка, может, если тебе нельзя, Шура напишет мне толком о всех твоих горестях. Боря, а может, если ты ко вторнику или раньше будешь здоров, а денег не будет, ты оставишь Абраше или Стелле (если Шура занят) доверенность на получение денег, а сам займешь хотя бы у Левина, расплатишься и приедешь. Тебе, конечно, виднее. Неделя пройдет быстро, ты не огорчайся, только бы погода подольше постояла. Теперь сенокос, жаль, что ты не увидишь лугов, сплошь покрытых ромашкой, колокольчиками и высоким красным клевером (кстати цвет клевера близок к цвету птиц), рожь уже тоже желтеет, вообще уже в Тайцах иначе, сперва была весна – большие пространства, полное одиночество, однообразие свежей молодой зелени, потом лето – деревья закрыли простор, люди прогнали тишину, исчезло однообразие, но с ним и ширина, но как хороша была рожь и луга, при наших ветрах у нас было, как на море. Теперь стоят стога.

До скорого свиданья.
Женя.

Пятница 25 <июля 1924. <Тайцы>

Телеграф есть, Боричка, за это письмо заранее прости. Тебе и так по горло надоело получать всякие удостоверения, а мне приходится тебя просить получить о том, что ты сотрудник с постоянным окладом, вчера был декрет, я его не читала, но мне говорили, что служащие (отдыхающие) платят в дачный совет 3 рубля с *семьи*, а все остальные 15 *рублей с человека*, так что если у тебя на то хватит сил, захвати удостоверение. Я знаю, что тебе это неприятно, но по 15 руб. с человека.

В городе задержалась я лишний день, ужасно хотелось тебе опять позвонить, но никто не мог мне подарить 3-х рублей. Сняла я Женю у Наппельбаума¹¹⁷ (он сам в Москве), снимала дочка, кланялась тебе. Это я эксплуатировала “Звучащую раковину”¹¹⁸. Они берут 10 руб. за три карточки, а я сказала, что могу 1 руб. за 1 карточку, если тебе неприятно, то прости, мне уж очень хотелось снять Женю, ему как раз в среду исполнилось 10 месяцев. Но все было мило и весело, она очень просила нас (если ты приедешь) зайти к ним осенью, обещаясь бесплатно снять всех троих.

Позвала я к Женичке врача того, что советовал А<брам> О<сипович>, Валицкого. Кстати, Абельман, уезжая, всех своих больных просил к нему обращаться. Он удивительно симпатичный и обладает тем, что необходимо врачу, к которому мне обращаться – категоричностью и строгостью. Женей остался недоволен. Есть признаки рахита: большая дырочка, увеличение печени, шишечки на головке, прописал строгий режим: соленые ванны, пребывание на солнце не меньше, чем в тени, даже сиденье на горячем песке, овощи и компоты. Ты Жениным рахитом не огорчайся, врачи почти у всех детей находят его признаки, которые при хорошем уходе за ребенком годам к двум исчезают. Валицкий мне сказал, что если я при благоприятной погоде буду следовать его советам, то к году Женя станет на ножки, пока же ножки у него слабые и слаба даже еще и спинка, я обо всем этом тебе писать не думала, думала рассказать, когда приедешь, да подвернулось под перо.

Крепко тебя целую. Жду.
Женя.

Врача позвала, потому что не могла сама распределить часы кормления, у меня в сутках оставалось 2 часа лишних, потом у Жени запоры и т. п. Рада, что врач был, потому что я увереннее буду с ним обращаться.

Всего тебе хорошего. Кланяйся всем.

Итак “на всю жизнь в Тайцы”, я это расслышала, и расслышала, что ты плакал, и видела, как ты стоишь за шкафом у телефона, думала (как часто ты обо мне), что ты маленький, что тебе хочется ко мне под крылышко, как Жене сонному в подушку.

Папа выехал 29 июля и на следующий день мама встречала его в Тайцах. В письме к Ольге Фрейденберг он просил прощения за то, что не повидался с ней в тот день, хотя три часа провел на вокзале и “физически это было возможно”. Он не мог заехать к ней, будучи не в силах видеть кого бы то ни было до того, как побывает у своих. Тетя Оля вскоре

¹¹⁷ Известный фотограф Моисей Соломонович Наппельбаум (1869–1958).

¹¹⁸ В свою бытность в Петрограде Пастернаки познакомились с дочерью М. С. Наппельбаума Идой Моисеевной (в замужестве Фроман; 1900–1992), которая как поэтесса входила в поэтическую группу Н. С. Гумилева “Звучащая раковина”.

приезжала к нам, может быть, она даже провела у нас несколько дней. Потом мы ездили к ней и бабушке Асе¹¹⁹ на Грибоедовский канал. Они очень привязались ко мне и называли Дудликом. Мама рассказывала, что это прозвище я получил потому, что я произносил “тудль-дудль”, когда мне давали яблоко, потешно поворачивая его туда-сюда в руке. Отец писал Оле уже из Москвы, что мальчик очень привязался к ним и ежедневно выводил на разные лады “тотя Уоля”, глядя на тети Асину фотографию на стене или играя яблоком.

“Тетя Ася смотрит на тебя, – писала мама папиной сестре Жоне, – большими светлыми глазами, немного прищурясь и наклонив голову, и сама создает о тебе легенду, это понимаешь сразу, и тебе уже необходимо стать героиней этой легенды, хотя бы не реально, внутренне быть достойной”.

Мы провели в Тайцах с папой чуть больше месяца. Родители часто ездили в Петербург, бывали у Мандельштамов на Морской, у Николая Чуковского¹²⁰, Тихонова. Меня снова возили к Наппельбауму сниматься, и, как обещала маме его дочь Ида, она сделала бесплатно великолепную фотографию нас всех троих вместе. Папочка очень любил этот снимок и часто использовал его фрагмент со своим лицом в качестве официальных фотографий на документах и в журналах.

Мы бывали у бабушки на Ямской. Она пекла нам удивительные торты и радовалась, когда я влезал прямо своей лапой в крем, разрушая красоту ее произведения искусства. Но как-то раз она полезла на шкаф, чтобы достать для меня игрушки, и, оступившись, упала на спину. Папа был при этом и в испуге бросился ее подымать, она его успокаивала. Ушиб стал причиной опухоли позвоночника, сведшей ее в могилу осенью 1928 года.

Этот случай был использован отцом в “Докторе Живаго” при описании рокового падения со шкафа Анны Ивановны Громеко.

В тщетных надеждах получить деньги, причитающиеся ему по договору с Госиздатом, отец обращался в Ленинградское его отделение, но так же безрезультатно. Пришлось продать мамину золотую медаль, чтобы выручить хотя бы шесть червонцев. Их остатки были потрачены уже в Москве, куда мы вернулись в середине сентября. Отцу казалось плохой приметой встретить мой день рождения 23-го числа без копейки в кармане. Накануне утром ему обещали выплатить в Госиздате, и снова обманули, вечером он ходил к агенту Общества драматических писателей, чтобы получить гонорар за постановку “Алхимика” Бен Джонсона в его переводе. У агента тоже не оказалось денег.

План предстоящей зимы сам собою сложился этим летом, – писал отец в Берлин. – В нем нет ничего особенного или незаурядного, он для меня нов только тем, что он трезв, суров и серьезен. В той его части, которая касается меня, он подготовлен давно рядом причин широчайшего и общего порядка, того порядка, где кончаются имена и начинаются социальные разряды, типические и массовые явления и прочая и пр. В той же части, которая касается Жени, он своей ясностью и точностью во многом обязан тете Асе, которая с обычной для нее страстностью с вечера на третий (мы часто у нее бывали) говорила о том, что нам надо жить так, чтобы Женя поправилась и, главное, могла поработать, чтобы уяснить себе, человек ли она или нет, так как в жизнь она вступила, не успев себя полностью узнать и обнаружить...

Я уже писал папе, как выделяет она Женю из всей семьи и как ее любит. Она ей подарила выездной театральный капор (или башлык) своего вязанья, парижский веер и белую голландскую кофту с оторочкой и распахнуто-стоячим воротом старинного покроя (в XVI веке так носили) – прямая копия той кофты, что на одной краснощекой крестьянке-невесте у Иорданса, может, помнишь. Она ее себе в Париже или в Бельгии купила или сделала, наме-

¹¹⁹ Сестра Л. О. Пастернака и мать Ольги Михайловны Анна Осиповна Фрейденберг (1860–1944).

¹²⁰ Писатель Николай Корнеевич Чуковский (1904–1965).

ренно копируя этот стиль. Кофта эта сущее загляденье. Потом она еще подарила брошку с аметистами Фене, – прислуге, водившей Женю в гимназию в Могилеве и теперь состоящей нянею при мальчике у нас...

Без регулярного заработка мне слишком бы беспокойно жилось в обстановке, построенной сплошь, сверху донизу, по периферии всего государства в расчете на то, что все в нем служат, в своем единообразии доступные обозрению и пониманию постоянного контроля. Итак, я решил служить¹²¹.

Отец согласился на предложение Якова Захаровича Черняка заняться просмотром иностранных журналов в поисках упоминаний о Ленине для библиографии, составлявшейся в Институте В. И. Ленина при ЦК РКП(б). Картотека просмотренных им материалов была напечатана в “Ленинском сборнике” № 3 за 1924–1925 годы.

Через несколько лет эта осень была описана им во вступлении к роману “Спекторский”, который он вскоре начал писать, – с горькой иронией по поводу своих тогдашних неудач:

Привыкши выковыривать изюм
Певучестей из жизни сладкой сайки,
Я раз оставить должен был стезю
Объевшегося рифмами всезнайки.

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребечества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.

Но я не засиделся на мели.
Нашелся друг отзывчивый и рьяный.
Меня без отлагательств привлекли
К подбору иностранной лениньяны.

¹²¹ Из письма от 20–23 сентября 1924 г. ПСС. Т. 7. С. 517–518.

Глава II (1925–1926) Преодоленное испытание

Для меня, не знавшего довоенного уклада и быта, его остатки были началом отсчета последующего волнообразного распада Москвы, ее красоты и своеобразия. По утрам было видно, как ко входу Храма Христа Спасителя, расположенного в центре площади, на которую выходили наши окна, подъезжал митрополит в карете шестернею цугом. Няня иногда водила меня на службу в этот огромный собор. Митрополит стоял в центре на малиновом возвышении – кафедре – и благословлял молящихся. Свечи, белая одежда, темное лицо с горящими глазами, жесты рук, как взмахи крыльев. Внутренняя роспись собора была масляно-плотной и монументальной. Снаружи мы часами рассматривали мраморные барельефы по стенам.

Я помню себя уже в то время, когда дедушкина мастерская была разделена дощатой переборкой. До этого комната перегораживалась шкафами. В проходной половине за занавеской и спинкой буфета я спал.

Отчетливо помню, как я просыпался солнечным утром от маминого звонкого смеха и, не спрашиваясь, бежал за перегородку к родителям. Мама лежала в постели и смеялась, а папа Боря стоял в большом тазу, поставленном на сложенные на полу старые холсты, и обливался из кувшина холодной водой. Пожалуй, это первое и самое счастливое впечатление из того, что мне запомнилось. Так начиналось каждое утро.

Ванная комната была заселена бездомными молодоженами, которых папа пустил переночевать, и они так и остались там жить, а вскоре у них родилась дочка. Воду для умыванья он приносил из коридора, где стояли запасенные с вечера ведра, иногда в морозы покрывавшиеся за ночь корочкой льда.

Наша кухня располагалась на окне холодного коридора – примус или керосинка. У нас была прислуга, иногда она же и няня, которая со мной гуляла. Это было далеко не всегда удачно. Дольше других прожила у нас няня Феня. Она жила еще в бабушкином доме в Могилеве и водила в гимназию маму, когда та была девочкой. Феня была больна, что временами страшно и неожиданно проявлялось, потом сошла с ума.

Занимался отец в той комнате, где я спал. Там стоял его письменный стол, рояль, буфет, обеденный стол, большое кресло с резными зверями, которые мне очень нравились в детстве и с которыми я играл.

Вторая половина мастерской была спальней родителей. В ней находились огромный дедовский стол, мольберты и шкафы со множеством интересных вещей – Бориными и Шуриными коллекциями марок, окаменелостей и ракушек из Италии и образцовым гербарием, который отец собирал в гимназии под руководством географа А. Н. Баркова¹²². Кроме того, там был склад художественных материалов и этюдов, оставшихся после отъезда дедушки, и маминых работ. В этой комнате за маленьким столиком я играл, рассматривал старые открытки и дедовские художественные книжки с картинками. Меня отправляли туда, когда у родителей были гости.

Смутно вспоминается, с каким трепетным вниманием наблюдал отец за моими поступками и словами, поправлял сказанное, не давал тянуться к окнам даже тогда, когда они были закрыты. В коридоре на широких подоконниках стояли два тяжелых мраморных бюста, оставленные дедушке уехавшими в Германию друзьями, и Боря боялся, что я их на себя

¹²² Александр Сергеевич Барков (1873–1953), географ, автор учебников, академик с 1944 г.

свалю. Как я вспомнил эту его боязнь, когда мы жили в Переделкине последним его летом 1959 года со своим маленьким Петенькой, и он попросил Зинаиду Николаевну вынести эти бюсты, стоявшие в столовой на специально заказанных подставках, на террасу, куда Петенька не заходил. Мне казалось, что с течением времени трепетность внимания отца ко мне ослабевала, хотя я часто чувствовал на себе его взгляд и понимал, как ревниво он следит за моими шагами и действиями, сдерживая желание вмешаться.

Спальня родителей в то же время служила маме мастерской, куда приходили позировать натурщицы.

За февраль и март 1925 года была написана первая глава “Спекторского”, начиная работу над второй, отец сделал дарственную надпись маме на только что вышедшей книге “Рассказов” (изд. “Круг”):

Золотой девочке, обожаемой моей, чтобы не умничала. Чтобы не умничала, не воображала, не судила. Купалась, улыбалась, восхищалась, писала красками и рисовала лучше всех, и делила жизнь без вспышек преходящей старости (озлобления), всегда молодая, какой я ее узнал, какою знал и какою люблю и жду от Синяковых¹²³ в это мгновение, в 2 часа 10 минут пополудни 31 числа марта месяца 1925 года.

Солнце, мальчик спит, она пишет¹²⁴ натурщицу, у нас денег на неделю, я начинаю вторую главу Спекторского.

Дай бог всегда так.

Боря

К сожалению, вторую главу “Спекторского” пришлось тогда оборвать и срочно изыскивать способы напечатать отрывки. Кончился оплаченный досуг, посвященный писанию романа и возвращавший то счастливое творческое состояние духа, которое поддерживало одухотворенную обстановку в семье и гармонию между родителями. Нужно было думать о лете, расплачиваться с долгами.

Мама возобновила занятия во ВХУТЕМАСе и стала помногу заниматься живописью. Деканом факультета был тогда Роберт Рафаилович Фальк, который с удовольствием вспоминал свое учение у Леонида Осиповича, а мамиными сокурсниками – молодые художники с сильной волей и стремлением к самоутверждению: Н. Ромадин, Г. Нисский, Соколов-Скаля, Е. Малеина, С. Чуйков. Впоследствии они составили славу советской живописи. Маме после перерыва приходилось очень трудно, на работу не хватало ни времени, ни сил, отчего она страдала и нервничала.

Когда к маме приходила натурщица, папа иной раз брал меня с собой на прогулку. Както мы с ним отправились в Сокольники, где катались на каруселях, раскинутых на поляне, в другой раз – ездили на трамвае в зоопарк. Там продавали вафли трубочкой, по кругу за прудом возили детей на осликах, пони и двугорбом верблюде, засовывая их в корзины, висевшие у него по бокам. На спине между корзинами сидел погонщик. Папа шел рядом и держал меня за руку. Мы шли от клетки к клетке, и я, вероятно, больше спрашивал, чем смотрел. Мы решили с папой, что уточки-мандаринки очень похожи на маму, и хотели понять, какая же из них – больше всех. Дома мы без конца обсуждали с ним виденное.

В поисках заработка отец обратился к помощи Николая Чуковского, и тот заручился обещанием Самуила Яковлевича Маршака напечатать детские стихи, если отец их напишет.

¹²³ Сестры Синяковы: Надежда Михайловна (Пичета; 1889–1975), пианистка; Мария Михайловна (Уречина, 1890–1984), художница; Вера Михайловна (Гехт; 1895–1973) и Ксения Михайловна (Асеева; 1893–1985).

¹²⁴ Почему-то мне кажется, что сегодня особенно радостно и удачно пишет.

Папа описал наши совместные с ним прогулки за город и в зоопарк, и получились два больших стихотворения – “Карусель” и “Зверинец”. К сожалению, не сохранился отзыв на них Корнея Чуковского, который помогал их публикации. Они вышли сначала в журналах, потом первое из них – отдельной книжкой с иллюстрациями Д. Митрохина¹²⁵, второе, более значительное, задержалось на четыре года.

Помню, как приходил к нам художник Николай Николаевич Купреянов¹²⁶ с пробными рисунками к папиному “Зверинцу”. На картинках был изображен знакомый зоопарк, но вместо нас с Борей – художник в берете со своей маленькой дочкой. Замечательная книжка с иллюстрациями Купреянова вышла только в 1929 году.

Это лето было особенно тяжелым в материальном отношении. Пастернак подробно описывает свои трудности 2 июля 1925 года Цветаевой:

Мне живется очень трудно и бывают времена, когда я прихожу в совершенное отчаяние. Я пишу Вам как раз в один из таких периодов... Жена и ребенок в деревне, на даче. Теперь крестьяне стали строить большие светлые избы и сдают их на лето. Там очень хорошо. Я приехал в город доставать денег, и это мне не удается. За квартиру не плочено три месяца, а это по нашим законам предельный срок, после которого подают в суд и выселяют. Тем же самым грозит мне неплатеж налогов...

Четвертый день я хожу по издательствам и редакциям. Мне надо достать во что бы то ни стало около трехсот рублей, чтобы отстоять квартиру и заплатить налог. Я с трудом достал пятьдесят и не знаю, что делать. Это очень унижительная процедура. Поведенье людей лишено логики... Они привыкли к грубостям и запанибратщине, и к тому, чтобы на них действовали нахрапом. А мне это претит... О, с какой бы радостью я сам во всеуслышанье объявил о своей посредственности, только бы дали посредственно существовать и работать! Как трудно, как трудно!

Я взялся за писанье детских вещей, на которые тут большой спрос, все пишут. Написал веселую, хрестоматийного рода “Карусель”. Сошло. Тогда, по просьбе Чуковского и как бы для него, написал более серьезный и содержательный “Зверинец”. В чаянии удачи с ним перевез семью в деревню. И вот я никак не могу его пристроить. Удивительно, что я Вам об этом так подробно пишу...

Вот я завтра поеду к жене и сыну. Как я им в глаза взгляну? Бедная девочка. Плохая я опора¹²⁷.

Чтобы раз и навсегда покончить с “мелями”, которые тормозили творческий разгон и подъем, отец взялся за “откупную” тему, как он назвал ее в письме к Черняку, – революцию 1905 года, чей двадцатилетний юбилей отмечался в этом году. Эта работа отняла у него почти два года, но зато позволила ему выбиться из нищеты и укрепила его положение.

Мучительный переход от лирического мышления к эпическому помогала ему преодолеть интенсивная и одухотворенная переписка с Мариной Цветаевой. Намеченная на лето 1925 года их встреча в Веймаре не состоялась и была перенесена на год. Ожидание этого, как Дамоклов меч, висело над мамиными отношениями с отцом и лишало ее душевных сил и доверия к нему. Она была в курсе этой переписки, отец читал ей полные страсти письма Цветаевой, у которой той зимой родился сын. Она посвящала его Пастернаку как божеству.

Особенно тяжела была весна 1926 года, когда отец прочел “Поэму конца”. На него всегда с особенной силой действовала безбрежная одухотворенность искусства, выбивала его

¹²⁵ Художник-график Дмитрий Исидорович Митрохин (1883–1973).

¹²⁶ Николай Николаевич Купреянов (1894–1933), художник-график.

¹²⁷ ПСС. Т. 7. С. 563–564.

из колеи и работы и требовала лирической отдачи. Он обрушил на Цветаеву поток писем, этот подъем сказался также в его письме к Р. М. Рильке, которое он написал, узнав, что тот читал в Париже его стихи. Возник план совместной с Цветаевой поездки к Рильке в Швейцарию, который разрушал папино обещание поехать летом с нами втроем за границу, куда звала нас Жоня. “Вы приедете к нам на лето, – писала она, – а потом, если Женя захочет, она уедет на время в Париж, оставив нам Женичку”. Перемена планов возмущала мамочку и вызывала тяжелые и мучительные объяснения. Возникли разговоры о необходимости расставания. Но мама остановила “взрыв категоризма” и попросила отца остаться. Эти слова он воспринял как обещание и надежду. Их серьезность дала толчок новой работе. Он начал большую поэму “Лейтенант Шмидт”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.